

84P7(2P-4Кем)

0 28

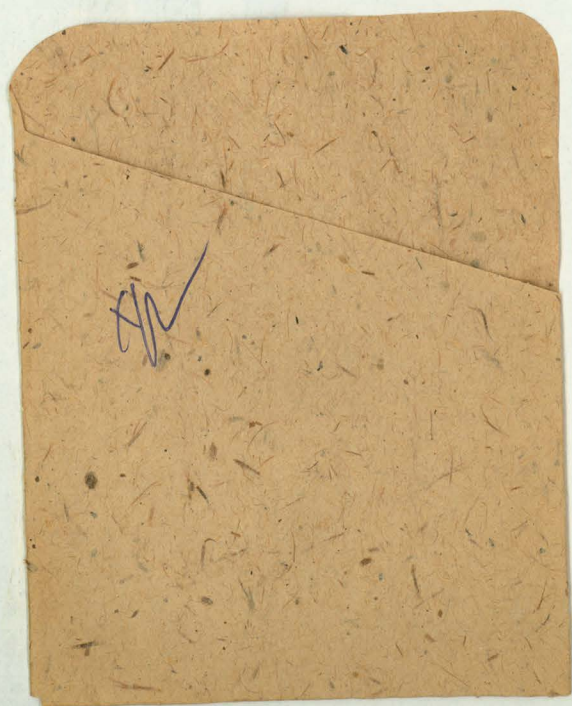
26 204

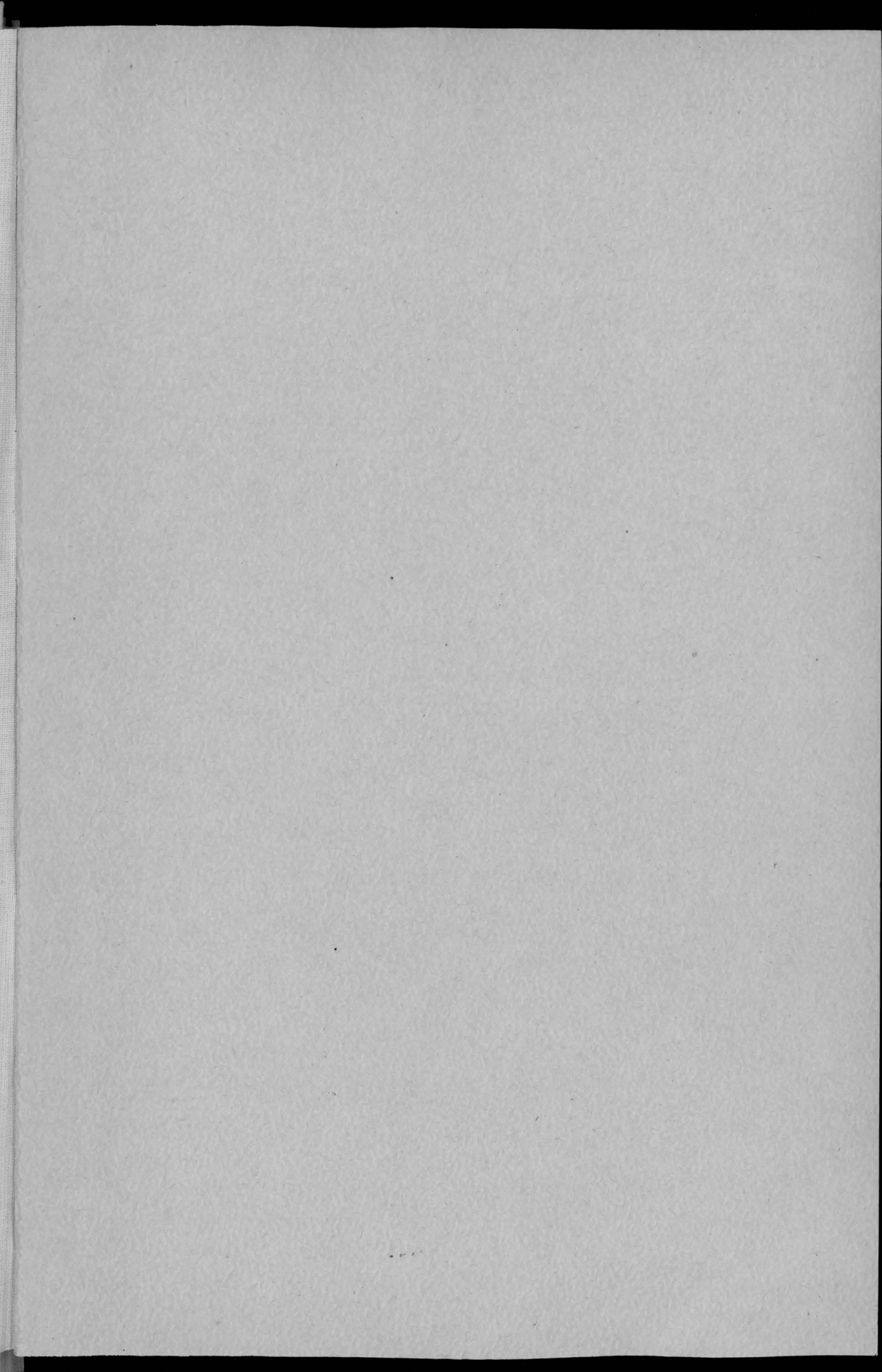
№110
10 05

1(16)
1965



КУЗБАССА







Ф 26204



393064

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

1 (16)
1965

ПРОЗУ
ЭТОГО НОМЕРА
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

Михаил Сафонов



«Мы ждем бетон. Мы зальем его в деревянную опалубку, мы засыпем его опилками. И потом придет она. В серой курточке, в красной шапочке, но почему-то очень похожая на снежинку».

(Из рассказа «Снежинка»)

Геннадий Емельянов



«Мне никто никогда не посылал любовных записок и не назначал свиданий. И я не сетую на свою горькую участь — давно смирился, еще в детстве, когда мать вытаскивала меня из-за своей спины и представляла знакомым — ушастого, тощего и конопатого».

(Из повести «Лед тает весной»)

Олег Павловский



«Ах, если бы ты был миллионером!» — сказала мне когда-то в студенческой столовой Ленка, мечтательно закатив при этом к потолку глаза и тщательно пережевывая тощую котлету с неизменным макаронным гарниром».

(Из рассказа «Пока не объявили посадку»)

Леонид Гартунг



«Они говорили шепотом, чтобы не разбудить Вовку. Лапшин смотрел на нее и думал о том, как непохожа она на ту, прежнюю девушку с полудетским телом и жиденькими золотистыми косичками».

(Из рассказа «Беглец»)

Кемеровская
областная библиотека
основной фонд

На площади в Белграде

Нет, не обелиск монументальный
в Белграде на площади центральной,
где цветы и травы не примяты,
где лежат советские солдаты...

За оградой мраморная крышка,
текст на ней суров и не цветист:
под плитою похоронен Мишка,
по военной должности танкист.

Средь пожаров, грохота и пыла,
празднуя победы торжество,
сохранить история забыла
славную фамилию его.

Где б ни жил он — в Омске или
Калуге —
все равно: над домом смельчака
русские посвистывали вьюги,
русские кружились облака.

И какой бы ни был он судьбою
наделен среди других людей,
выпускал он в небо голубое
наших русских белых голубей.

Нет, не в поле, где туманны тропы,
где былинна песенная ширь, —
в стольном граде посреди Европы
похоронен русский богатырь.

Только нет и здесь ему покоя,
потому что, злобою полна,
по Европе
— снится же такое —
бродит недобитая война.

И солдата,
в городе старинном
павшего в далекий грозный час,
старшина, убитый под Берлином,
отказался списывать в запас.

В подвиге, и вечном и мгновенном,
он стоит у мира на виду
на своем военном,
на бессменном,
на века доверенном посту.

Не стрелять
в ровесников мальчишкам!
Будет день их ясен и лучист!
В том посмертно присягает Мишка,
по военной должности танкист.



ЛОМКИЕ, пожелтевшие от времени листки фронтовых писем... Читаешь и не можешь оторваться от этих неровных, подчас неразборчивых строчек, набросанных торопливой рукой на клочках бумаги, быть может, за несколько минут перед боем или перед тем, как уйти на задание, из которого не всегда возвращаются.

...Милая мамочка... Дорогая сестренка... Моя любимая...

Будто не им, совсем незнакомым женщинам, а мне предназначены эти слова, полные нежности, тревоги и любви. Гнев их и грусть, томящая сердце печаль и беспечная радость юности, едва высказанное сомнение и строгий укор — все, все это словно обращено сегодня ко мне и стало моей тревогой, печалью, и гневом, и радостью. Таково свойство этих необыкновенных писем.

Письма с войны тысяча девятьсот сорок первого — сорок пятого годов.

Суровые. Нежные. Горестные. Яростные.

Я читаю их, и видится мне, что письма эти адресованы не одному человеку, они — как завещание чувств одного поколения другому.

Именно так: завещание чувств! На первый взгляд — это глубоко частные, личные, интимные письма: жене — от мужа, сестре — от брата, девушке — от любимого, матери — от сына.

Но вчитайтесь в них, и перед вами встанут люди большого чистого сердца — отзывчивого, страдающего, любящего. Вы услышите голос целого поколения, прошедшего через тяжкие испытания войны и победившего их ценою горьких, невозвратимых утрат, ценою своих жизней.

3 ТО письмо хранится у кемеровчанки Нины Григорьевны Пшеничновой.

«...Оно было получено мною в августе месяце 1944 года с фронта от отца погибшего моего друга детства. Сама я в то время тоже находилась в рядах Красной Армии, только на Дальнем Востоке. Виктор Петров и его отец Павел Иванович Петров были вместе, и, когда Виктор погиб, Павел Иванович написал мне это письмо. С Виктором мы учились в одной школе № 12. Был он у нас комсомольским вожаком. Все свободное время мы проводили вместе, и смерть Виктора была для меня неизбывным горем. Это письмо я храню как память о друге...»

В конверт вложено несколько тетрадных листов в клеточку, мелко исписанных карандашом. Павел Иванович обращался к совсем незнакомой ему девушке. Но в минуты жгучей неутрахающей боли он назвал ее своей дочерью. Ведь ее, Нину, любил Виктор — его сын...

«Милая дочка Ниночка! Встань, почти память любимого тобой Виктора. Он страстно хотел жить, он мечтал о послевоенной жизни и иногда, сидя со мной в одном окопе, говорил мне: «Папа, ну почему ты не помнишь Нину, она тебе все приветы шлет?!»

Погиб смертью храброго воина в горячем бою с врагом на границе дорогой мой, единственный сын Виктор 27 июля 1944 года, в 11 часов дня.

Тяжело, Нина, мне, старому воину-отцу. Проклятый снаряд не мог угодить в меня! Зачем погасла молодая жизнь? Судя по разговору, который иногда Виктор имел со мной, я понял, что он тебя, Ниночка, носил в своем молодом сердце, которое теперь перестало биться. Проклятый фашист отнял жизнь. Нет Виктора! Но на поле боя остался еще старый фронтовик — его отец, который будет жестоко мстить врагу.

Хочу описать тебе мою с ним боевую жизнь...»

Много написано о войне. Но письмо Павла Ивановича Петрова о последних днях и минутах жизни и смерти его сына Виктора потрясет каждого. Словно сам становишься очевидцем и участником одного из тех беспримерных боев. И одушевленный порыв накануне сражения с врагом, и нетерпеливые удары молодого горячего сердца, и последнее рукопожатие друзей, и бездонность отцовского горя — все, все это так ясно проходит перед глазами...

«В полночь 23 июля Виктор забежал ко мне в окоп и сказал: «Ну, папа, все готово, пожелай счастья в бою. Ты пойми, папа, для меня этот бой будет носить исторический характер. В ноль-ноль мы первые будем рвать фронт...»

Я вышел с ним из окопа, пожал руку. Мы расцеловались.

Ночь была тихая, звездная. Расчеты сидели у машин, устремив взор в сторону врага. Стало светать. Вдруг Виктор выбежал из укрытия и во всю мощь своих молодых легких скомандовал: «Во имя Родины по фашистским шакалам — огонь!!!» Тишину разрезал первый оружейный залп. Вслед за ним открыли огонь до 100 других орудий, пушки всех калибров метали снаряды из тысячи стволов!

Нина, я — старый воин и много здесь видавших виды воинов, но такой артподготовки никто не видал! От грома орудий дрожали земля и воздух. Рядом стоящий не слышал самого сильного крика. Команда передавалась жестами. Мы все бешено работали: таскали снаряды, заряжали и снова таскали...

Все мы были гордо возбуждены силой советского огня и в порыве возбуждения кричали: «Бей гадов! О-г-н-я!!!»

Три часа шла адская канонада...

У немцев была глубоко эшелонированная сеть укреплений, многорядное проволочное заграждение, густые минные поля и доты, в которых они больше полутора лет сидели... К полудню канонада стихла. Мы ринулись на машинах вперед. Запыленный, до крайности возбужденный Виктор подбежал к моей машине, пожал руку и крикнул: «Вот так, папа, надо бить врага!..»

На полном газу мы заскочили на первую вражескую линию укреплений. Что осталось? Абсолютно перепаханное глубокими и мелкими воронками поле. Лес скошен, как трава, доты и траншеи смешаны. Кругом трупы, куски шакальих тел, клочки одежды. Из одной воронки мы вытащили четырех сумасшедших фрицев. Не вынесла арийская натура русского огня! Оставшиеся в живых бежали на запад, сея страх и панику в своем тылу. Так, Ниночка, и надо бить коричневую чуму. Я горд тем, что в этом бою с Виктором принял горячее участие.

Фронт прорван! В межбоевые минуты (их было мало и только ночью) Виктор забежал ко мне в укрытие, и мы душевно беседовали. В основном, конечно, все сводилось к тому, что еще бросок, другой — и мы выполним почетную задачу. Потом отдохнем, получим письма, наконец-то! Какая приятность впереди!

Виктор, краснея, говорил все то же: «Папа, неужели ты не помнишь Нину? Вспомни, а то я обижусь на тебя!»

Я гримасничал, делал мудрый вид и говорил: «Вспомнил!». Он весело смеялся: «А ну, опиши ее черты». И, конечно, на этом меня ловил. Я сдавался и снова повторял, что после контузии я многое не могу восстановить в памяти. Он обычно говорил: «Ну, папа, придется тебе крепче запечатлеть ее черты, когда после войны я покажу ее тебе, но только за нашим общим семейным столом...»

И так мы снова и снова беседовали о семье, доме, будущих встречах...

Но вот настало злополучное утро 27 июля 1944 года. Часть, в которой служили отец и сын Петровы, удерживала крупную группировку врага у самого Буга. В яростной попытке вырваться из железного кольца советских войск фашисты пошли на прорыв, пустив в контратаку густые цепи автоматчиков, поддерживаемых танками-самоходками. В самом центре жестокого боя оказалось артиллерийское подразделение Виктора. «Папа, не отдадим дешево жизни», — крикнул он отцу и начал бить по бугру прямой наводкой. Откатывались назад и снова лезли в атаку остервеневшие фашисты. Павел Иванович старался не упускать из вида сына. На маленьком участке прорыва остались отец, сын и четверо гвардейцев-артиллеристов. То и дело Виктор подавал команду «огонь!», каждым выстрелом отбрасывая наседавшего врага назад. Вдруг Павел Иванович увидел, как слева на них несется «тигр» с десантом автоматчиков. Вот под прикрытием танка вражеские автоматчики соскочили на землю и побежали к горстке советских бойцов. Все ближе и ближе... Вот они уже в ста метрах. Виктор еще раз скомандовал: «Огонь!» Это была его последняя команда...

«...Я кинулся вперед, чтобы своей грудью защитить сына, пуская длинную очередь своего автомата в сторону бандитов. Помню, сын крикнул: «Папа...» Он не досказал. Меня окружили дым, земля... Я услышал треск разорвавшегося снаряда. Виктор упал. Не помня себя я кинулся к нему. Он лежал вверх лицом, с открытыми глазами. Лужа густой красной крови моментально образовалась под ним. Я увидел громадную зияющую рану в бедре...

Нина, моя дочь! Разве можно описать, что было со мной! Я бросился к сыну, он смотрел на меня недоумевающим взором. Я целовал его лицо и безумно звал: «Витя, Виктор...» В голове мелькнула мысль: помощь бесполезна, гады будут издеваться над трупом коммуниста-офицера. Я схватил его и опомнился у опушки леса. Комдив оказался рядом со мной. Он был так же испачкан в крови сына, как и я. Он помогал мне тащить. Виктор бессознательно стонал. Нас два раза разбрасывало от близости разорвавшихся снарядов. Мы падали, вставали и снова несли. Осколок впился мне в спину. Брызнула кровь. Помню, комдив яростно выругался и закричал: «Машину!» На моих руках закрылись навеки глаза моего единственного любимого сына...»

Несколько длинных очередей из автоматов были прощальным салютом гвардейцев своему командиру. Павел Иванович не пошел в госпиталь. Похоронив сына, он снова встал в строй.

Однажды осенним днем мне позвонили из радиокомитета: «Вас ожидает Павел Иванович Петров». Оказалось, что соседи Павла Ивановича слышали одну из моих радиопередач, в которой я просила старого солдата дать знать о себе.

Навстречу мне поднялся седой, коренастый человек. Молча пожал руку. Долго не мог справиться с волнением. Потом заговорил. О сыне, конечно. Виктор посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени. Сам Павел Иванович удостоен ордена Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». Он показал мне последнюю фотографию сына, газеты военных лет. В одной из них («Кузбасс», 7 ноября 1944 года) помещена заметка: «Мне надо дойти до Берлина». В ней гвардии старшина Петров-отец рассказывает о гибели сына. «И в Пруссию мне пойти надо, и в Берлин! И не только потому, что они убили моего сына. Я прошел по своей стране и видел сожженные села, разрушенные города, я видел на виселицах наших советских людей, я видел трупы замученных наших воинов, я не забуду глаза наших детей, которые видели зверя. Они призывают к мести».

Длинна была фронтовая дорога солдата Петрова. Он освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. В числе первых достиг границы Восточной Пруссии, форсировал Вислу, Одер, дошел до Берлина!

2

БАНДЕРОЛЬ из Гурьевска. Старательно упакованная серая папка, в ней записка: «Уважаемые товарищи! Посылаем вам фронтовые письма и несколько других документов нашего сына, старшего лейтенанта Советской Армии Валентина Трофимовича Александрова.

Три маленькие фотографии Валентина. На первой — он еще студент Томского университета, государственный стипендиат. Высокий лоб с широким разлетом бровей, смеющиеся блестящие глаза. Все в этом лице светло, молодо, счастливо.

На второй — выпуск военного училища, лейтенант Валентин Александров. Черты лица потеряли юношескую округлость, резче обозначились скулы. Над верхней губой темный пушок. Гимнастерка тесно обтягивает развернутые крепкие плечи.

И последняя, третья — фронтовая. Уже два года войны. Уже эти глаза видели смерть. Между бровей навсегда залегли две вертикальные морщинки. И там, где был красивый очерк губ — суровая, жесткая черта.

Письма студенческих лет полны планов, надежд. Работать в промышленности, в науке, дать вздохнуть своим старикам от постоянных забот о нем, о сестренке. «Родные мои, как дорога мне ваша помощь! Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за все это?! Но теперь уже скоро, еще каких-нибудь два года...»

На папке с письмами надпись: «Погиб за Родину 4 декабря 1943 года, 22 лет».

За несколько дней до войны Валентин Александров, студент третьего курса факультета неорганической химии, готовился к сдаче последних экзаменов. Профессура отмечала его блестящие способности и необыкновенную одаренность также и в области физики. При определении специальности он был в числе студентов, которым предоставили право выбирать: «Химия или физика? А может, и то и другое!?»

Но потом тот день — 22 июня — и все ясно: куда идти, что делать, кем быть!

«27 ноября 1941 года. Пишу из деревни, что около Москвы. Фронт от нас в 50 километрах. Слышна артиллерийская стрельба. Самолеты все время летают...»

«9 января 1941 года. ...1 января, когда заняли одну из деревушек (выгнали фрицев), все горело. Мне пришлось вытаскивать из горящих домов снаряды... Меня направили в госпиталь. На фронт приехал 29 ноября, и с этих пор был в боях до самого ожога. Приходилось быть в переломках, но ни разу не ранило, не ушибло, а тут...»

«15 мая 1942 года. Мои дорогие! После госпиталя я стал минометчиком и еду на курсы по специальности. На этот раз на фронте остался невредим, хоть и били мы фашистов из наших орудий, находясь вместе со стрелками на самой передовой. Вот окончу курсы — и опять по захватчикам палить поеду».

«16 августа 1942 года. Программу обучения закончили давно, экзамены сдали. Теперь ждем приказа о присвоении звания. Скорее бы на фронт, а то надоело здесь околачиваться...»

Даты нет. «Пока я жив, я свой долг исполню...»

«14 марта 1943 года. Здоровье мое прекрасно, бодр, как обычно. Хожу по лесу, часто вспоминаю вас. От нас недалеко яблоневый садик, весь в цвету. Хорошо! Милые мои... Как жили бы мы теперь, если бы не война».

«23 апреля 1943 года... Моя жизнь в лесу продолжается с июля 1941 года. Пока благополучно».

«24 июня 1943 года. Вот уже полмесяца, как я перешел, т. е. переведен на другую работу. Покончил непосредственно заниматься разведкой, стал работать самостоятельно «хозяином» Н-ского подразделения».

«22 июля 1943 года. Наконец-то выбрался из огня. Я пока жив и здоров. Наша часть первой ударила по передним укреплениям гитлеровцев. Задачу выполнила. Фрицев громили и гнали, пока были силы. Устали так, что на ногах едва стояли. На то и война, особенно в наступлении. Фрицы бежали, все бросая — и орудия, и боеприпасы, и обмундирование, и продовольствие...»

«8 октября 1943 года. 300—400 километров протопали пешком

с боями. Гнали фрицев на запад. Много случаев — веселых и печальных, трудных и легких было за это время... Об этом вы могли бы узнать из газет, если бы знали номер нашей части. В газетах был приказ о наименовании нашей части. Можете поздравить меня с награждением за дела ратные орденом Красной Звезды. Вот уже 4 дня как мы отдыхаем. Но впереди еще большие боевые дела, которые закончатся нашей полной победой».

Наставник, лучший друг, душевный собеседник, — таким был для Валентина его отец Трофим Васильевич. Прогулки в лес, на рыбалку, рассветы, встреченные на берегу реки, так и остались с детства в душе юноши как самые светлые воспоминания. «Ваши письма я прочитываю по несколько раз, — писал домой Валентин, — особенно то, где ты, папочка, касаешься знакомых милых мест, описываешь свои хождения, вспоминая о наших совместных. Это восстанавливает у меня в памяти всю прелесть прежних дней. А сколько в этих письмах заботы, материнской ласки и милых слов!»

И шли из Горной Шории на фронт письма о том, как просыпается тайга, как шумят весенние потоки, как неповторимы краски и запахи родной далекой земли.

И туда, на фронт, приходила весна.

«У нас уже весь снег стаял, прилетели грачи, скворцы, оголились все головешки... Везде зола, кучи кирпичей на месте бывших деревень. По берегам распустились вербы. В траншеях и окопах — грязь, в воронках от снарядов и мин, покрывающих сплошь все поля, овраги, луга и пашни, — вода...»

Пушистая веточка распустившейся вербы и рядом безобразные воронки, весеннее пробуждение земли и ее зияющие раны, нанесенные войной, — все вбирал в себя, на все отзывался его добрый, любящий взгляд. Таким и запомнился он товарищам по фронту.

«4 декабря 1943 года под Чаусами я потерял своего боевого друга Валентина Трофимовича Александрова... Его образ в моей душе останется навсегда. Честный, правдивый, он имел душу настоящего человека. Никакая невзгода не разрывала нас с ним. Валя был начальником штаба стрелкового батальона, а я его помощником. В последние минуты жизни он принял на себя командование батальоном при выполнении задачи прорыва фашистской обороны. Погиб он от нескольких ран в руки и последняя в грудь...» — писал родителям Валентина его фронтовой друг, старшина Виктор Дунаев. Это была последняя весточка о сыне.

3

НАВЕРНОЕ, так было в каждой семье, где отцы уходили на фронт... Прильнув к двухлетнему Славику, Иван Самошин долго не мог оторваться от сына. Невыразимо родные запахи кружили голову. Отец поднес к губам крошечную ручонку, словно перетянутую ниточкой, и, как из чаши, пил и пил ее тепло, будто желая взять частичку этого тепла с собой в дальнюю дорогу. В этот миг его любовь к сыну сливалась в нем с другим чувством, о котором громко не говорят, которое скрыто до поры в самых глубинах человеческого «я», и не так-то легко его выплеснуть наружу. Чувство долга! Перед Родиной, перед людьми, перед жизнью. Сейчас любовь к сыну, к своим близким, к семье и чувство долга

были в нем так близко друг к другу, что он уже не мог отделить одно от другого.

Всю свою неизрасходованную отцовскую нежность к маленькому сыну солдат вкладывал в письма домой. Каждая новая почка, каждый новый росток на маленькой ветке родного дерева несказанно радовали его. Вот Славик самостоятельно надел башмачок. Принес маме чашку — помощник уже! Пошел в детский садик. Нарисовал первую картинку...

Потом сын тяжело заболел. Но жена сообщила об этом лишь тогда, когда Славик был вне опасности. А с фронта, сквозь зенитный огонь, через минные поля и колючую проволоку, летят и летят гонцы отцовской тревоги, предостережений, наставлений:

«Прошу тебя, нежней обращайся со Славиком, меры воспитания всегда можно найти помимо грубостей. Он теперь, должно быть, стал большой... Живу надеждами на встречу».

«Скажи Славiku, чтоб снег больше не ел. Научился ли он читать?»

«Пусть Слава напишет мне письмо, и поцелуй его за меня крепко-крепко. Скажи, что это от папы. Как хочется его увидеть, даже трудно передать!»

«Лес оделся в листву, стал красивым. Только эту красоту нарушают рев и бомбы самолетов, выстрелы орудий, минометов. Надо надеяться, что любители войны — банда Гитлера — получают окончательный урок...»

Он освобождал Эстонию, Латвию, Белоруссию и Польшу.

«...а теперь приходится передвигаться по проклятой Германии — стране зла и неисчислимых бедствий и страданий миллионов людей, причине нашей долгой и томительно-жгучей разлуки...»

На четвертом году разлуки со всем, что было так дорого и близко, незадолго до своей гибели Иван Федорович оставил завещание о воспитании сына. Торопливые, подчас сбивчивые строки. Он знал: письмо может быть последним и надо найти в себе самообладание, чтобы вместо короткого, как выстрел, слова «прощайте» написать спокойное, рассудительное письмо о своем мальчике. Но что-то выходит не так, и он тут же корит себя с досадой: «я знаю, что все, что я здесь пишу, получается бестолково и несуразно...»

Особенно он озабочен духовным развитием Славика. «...моральное воспитание ребенка мне до боли в душе хотелось бы взять обязательно на себя, если б это было возможно, ну а пока этой возможности у меня нет, я прошу тебя, — обращается он к жене, — как можно уделяй Славiku больше времени. Ведь сейчас ему можно читать сказки Пушкина. У него будут развиваться впечатления, знакомство с природой, прививаться вкус и разбор в природе и окружающей обстановке...»

Когда-то его самого великий поэт вводил в мир добрых, прекрасных представлений о жизни, о Родине, о России. А теперь вот солдат доверял ему своего сына...

4

ЛОМКИЕ, пожелтевшие от времени письма фронтовые, письма с войны и о войне. Письма, несущие горькие вести. Письма, прерванные на полуслове. Письма-признания. Письма-мечты. Письма-клятвы.

«...Не знаю, как начать. Вы очень испугаетесь, если я сразу напишу, что его больше не стало. Да. Ничего не сделаешь, Бориса больше нет — он погиб 16 января 1945 года. Я с ним был в одном экипаже. Он был моим механиком. В одном из боев вражеский снаряд угодил в наш танк,

прямо в то место, где сидел Борис... Знаю, мама, Вас постигло большое горе. Извините, что я Вас называю мамой. Я тоже такой, как и ваш Борис, тоже с 1924 года, так что мы с ним жили, как братья...»

Мама, мама!.. Если бы мог командир танка Иван Козлов в ту черную минуту, когда вы получили эту весть, быть рядом с вами, — с какой сыновьей нежностью и лаской обнял бы он ваши поникшие плечи... Но он был далеко от Сибири — на берегу польской реки Пилитц, на том берегу, где вечным часовым мира остался ваш сын Борис Григорьевич Григорьев. Его друг, его брат.

Сотни писем к родным, друзьям, близким. Они завещают нам святую верность высоким идеалам гражданского долга и человечности, стойкость духа в борьбе. И вечную память о тех, кто пал в боях за Родину.

Владимир Измайлов

●

Высоты помним,
Села,
Города...
А на поляне, от жилья в сторонке.
Земля затравенелая тверда —
Заплыли и траншеи, и воронки.
Все отошло...
Отплакали ветра
Над павшим и забытым после боя.
И двадцать лет шумит, шумит ветла,
Что выросла здесь так, сама собою.
Не ветер ли, бродяга, посудил,
Что жаль могилы, позабытой всеми,
Да издали принес и посадил
Выносливо-бесхитростное семя?
Беспамятно,
Безвестно пал солдат,
От мест жилых,
От всех живых не близко...
А сколько их таких — без мест, без дат,
Которым ни креста, ни обелиска!!
Поляна и спокойна,
И светла,
Весной в цветах,
Зимой в сугробах тонет.
...Под ветром, дрогнув, заскрипит ветла,
А чудится, что человек застонет.

Короткие рассказы

Михаил Сафонов



Доски

ЧЕРЕЗ каждые полчаса бригадир выбирался по скользким сходням из котлована и шел на нососную: там был телефон. Он подтягивал голенища своих рыбацких сапог чуть ли не до самого пояса и с трудом шагал по глубокой колее. Вода поднялась до самой кромки, и идти было тяжело и вязко.

С ночи шел дождь. Бригадир брел, раздвигая густую воду, и думал о том, что его ребята сидят под тощим навесом, мокрые и злые. Злые на него, на дождь, на лесовоз с досками, застрявший невзвешенно где. Сидят и почему зря кроют и начальство, и его, бригадира, за то, что заставили их чистить котлован в такую погоду.

Когда они утром спустились в котлован, там были только круглые лужи между рыхлыми буграми глины. Глину нужно было убрать, потому что во вторую смену придут плотники и начнут выставлять опалубку. Вчера тоже был дождь и ночью тоже. Глина размякла и лениво расплзлась по лопатам. Ребята молча бросали липкое глиняное тесто в носилки, и бурые жилки воды текли с лопат, носилок, с фуражек и курток.

Бригадир вместе с ними вытаскивал из котлована тяжелые носилки, курил под ненадежным навесом, положив под себя лопату, а потом вставал и снова шел на нососную и глухо кричал в телефонную трубку:

— Лес будет?

Ему каждый раз отвечали, что будет, что лесовоз отправили еще час назад и что он привезет шестиметровые сороковки, которые нужно разгрузить и упрятать под навес. Он вешал трубку и шел обратно.

После обеда дно котлована стало ровным, похожим на огромную кофейную чашку со щербатыми краями. Жижа в ней лениво пузырилась, словно стояла она на медленном огне. Ребята сидели под навесом, курили тонкие, как гвоздики, папироски и молчали. Сидели из-за этих проклятых досок, из которых плотники во вторую смену должны делать опалубку, хотя вернее всего, что плотники во вторую не выйдут.

Ребята все в бригаде были молодые и новые, и все у них было новым: и куртки, и лопаты, и сапоги. Они еще обращались к бригадиру на «вы», да и он еще почти никого не знал по имени, и все ему казались похожими друг на друга. Весь день они не разговаривали с бригадиром, ни о чем не спрашивали.

«Ну и пусть злятся», — думал бригадир. Что, он виноват, что зарядил этот дождь, что во вторую смену придут плотники, и что лесовоз провалился сквозь землю, и что плотники, пожалуй, не придут? Он не виноват. И если сейчас хоть один скажет, что им надоела эта собачья работа, он ответит им очень громко и очень весело: «А будь они неладны, эти доски! Мы свое сделали. Шабашим!»

Они встречали его молча и ни о чем не спрашивали, и он тоже ничего не говорил. Конечно, им между собой говорить интересней. Они все новгородские, с одним эшелоном приехали. А он для них «чужак» — саратовский...

Доски привезли в половине шестого. Возле самого котлована лесовоз занесло, и верхние ряды свалились на землю. Они лежали гладкие, усеянные мелкими пятнышками грязи, но все равно необыкновенно чистые, и коричневые брызги только подчеркивали их чистоту, как веснушки оттеняют белизну кожи. Шестиметровые сороковки, одна к одной, как спички в коробке. И только сверху лежал короткий трехметровый обрезок.

Сначала стаскивали те, что в кузове. Каждый брал по доске и клал себе на плечо.

— Вдвоем берите, — крикнул бригадир, — чего надрываться!

Но каждый по-прежнему клал на плечо по доске и шел к навесу. Доски чуть прогибались концами и царапали мягкую землю. Одна за другой они плавно плыли к навесу, словно их несла невидимая и сильная река.

Штабель быстро таял. И только на обрезок никто не обращал внимания. Будто его и не было. Его даже в сторону откинули, вроде он кому-то помешал.

Потом ребята расселись на досках. У машины остался один бригадир. Он подписал шоферу путевку и поднял с земли обрезок, переложил его несколько раз, а потом привалил к груди и понес, прижимая обеими руками. Он нес его медленно, плотно ступая по вязкой глине и смотря прямо перед собой, и видел, что ребята все смотрят на него, и ему казалось, что глаза их теплеют и они улыбаются ему. И они действительно улыбались той невольной доброй улыбкой, которой дарят человека, несущего на руках новорожденного.



завтра будет
поздно

Свою картину Анатолий начал рисовать еще летом, когда бригада работала в главном корпусе. В обеденный перерыв и после смены он уходил на берег канала и оттуда делал зарисовки ГРЭС. К осени их скопилось штук двадцать. А в конце августа бригаду бросили на строительство жилого дома, и Анатолий был рад, что успел сделать так много набросков.

По вечерам ребята послушно выходили из комнаты, и он, разложив альбомные листки, подолгу засиживался у холста. Но свободных вечеров было мало. Дом нужно было обязательно сдать к первому января, и поэтому работали в три смены. И все-таки Анатолий успел закончить свою картину и в новогодний вечер принес ее в клуб.

Директор клуба самолично заколотил гвоздь и повесил картину на самом видном месте, против окна.

— Великолепно будет смотреться! — Он спрыгнул с табуретки и, отойдя на несколько шагов назад, сложил ладонь трубочкой и смотрел в нее, как в подзорную трубу.

— Великолепная картина! Все как есть. Реализм! Социалистический!

Картину сразу обступили. Анатолий стоял у окна и жадно ловил реплики ребят.

— Похожа! Прямо как в жизни.

— Гляди, Нина, вот здесь мы работали.

— А мы выше вас, вон где...

— Толь, а что ж ты нашу третью трубу не нарисовал? Мы ее, считай, закончили. Как же теперь? Построили ведь мы ее. Пририсуешь?

— И кран мой обязательно нарисуй. Для третьей очереди кран мы сдали, — это говорил Володя Северинов, бригадир монтажников. — Знаешь какой кранище? Сорокатынный! Колонну запросто поднимает.

— Тогда и колонны надо. Мы их уже десять штук смонтировали.

— Так не забудь, завтра же пририсуй.

— Не слушай ты их, Толя. Ничего не пририсовывай. Как было, пусть так и останется, — сказал начальник второго участка Гришин. — Все равно опоздаешь. Мы вот, к примеру, завтра монтаж корпуса начинаем. Разве угонишься за нами?

Пририсовывать Анатолий не стал, и картина по-прежнему висит в клубе. Только директор перевесил ее на другое место, поближе к двери.

— А здесь место для следующих, — объясняет директор. — Вы строите, а мы отражаем. Великолепно будет смотреться. Третьяковская галерея. Соцреализм!



нежинка

ПАДАЛ снег. Спокойный, древний снег. Высокие стены крепости были усеяны белыми снежинками, а на острых копьях стражников качались пушистые шапочки. Крепость спала. Она еще не знала, что скоро все вокруг загудит, заревет, вспыхнут беспощадные огни и мы пойдем на штурм.

Я крепко сжимаю в руках топор и смотрю на безмолвные стены.

— Ты в клуб придишь? — спрашивает Витька.

Он спрашивает просто так, от нечего делать. Наверное, десятый раз спрашивает про клуб. Мы сидим и ждем бетон вот уже два часа. И нужно ведь о чем-то говорить.

— Не знаю, — отвечаю я.

Витька все испортил. Теперь передо мной никакая не крепость, а опалубка сбросного колодца. Наверху щетинится арматура, и на ней медленно качаются белые шапочки.

Мы ждем бетон. Мы зальем его в деревянную опалубку, мы засыпем его опилками. И потом придет она. В серой курточке, в красной шапочке, но почему-то очень похожая на снежинку. Наверное, потому, что, когда я увидел ее впервые, тоже падал медленный снег, и она появилась неизвестно откуда, как снежинка.

— Из лаборатории, — шепнул мне тогда Витька. — У бетона температуру проверяет.

Девушка легко ходила по самому верху опалубки, разгребала черным валенком желтые опилки, прикладывала термометр и что-то записывала в маленькую книжечку.

Потом она спускалась вниз и шла вдоль деревянной стены. Она вытаскивала из опалубки деревянные пробки и просовывала в черные, похожие на амбразуры дыры термометр. Тогда-то я и узнал, зачем нужны эти дыры, которые бригадир называет солидно — «отверстия».

Мы сверлили «отверстия» в опалубке тупым буром, рукоятка у которого была сломана и больно врезалась в ладонь. Одной рукой мы держались за брус, а другой медленно поворачивали непослушный скрипучий бур. Рука быстро немела, и бур выскальзывал.

Теперь я знал зачем это. И теперь я сам сверлил все дыры на новой опалубке. Сверлил яростно, наваливаясь всем телом на проклятый сломанный бур. Потом я вытесывал топором круглые пробки и легонько, забивал их в опалубку. Легонько-легонько, чтоб ей, снежинке, не приходилось с ними возиться.

Перед самым Новым годом мы закончили последнюю секцию. Сегодня в первую смену пришел бетон.

Я специально остался во вторую, потому что с последней машиной приедет она.

И она приехала. И снова падали снежинки и вели свои бесконечные хороводы в лучах прожекторов, а устав, опускались на опилки...

— Эй! — позвал меня бригадир. — Сходи на бетонный, скажи электрику, чтобы шел сюда. Заодно проводишь девушку. С бетонного прямо домой иди. С наступающим! — крикнул он нам в спину.

Мы шли по неровной дороге, замеченной обманчивым снегом. Мы скользили, и она взяла меня за руку. Я снял свою дубовую рукавицу и крепко держал ее маленькую ладошку в мокрой шерстяной варежке. Наверное, у меня была очень горячая рука, потому что она сняла варежку.

— Ты снежинка, — сказал я. — Ты маленькая снежинка, а вокруг твои сестры, такие же красивые, как и ты.

Она подняла голову, посмотрела на меня. Она смотрела на меня долго. Снежинки лежали на ее бровях, на прядке волос, убежавших от красной шапочки.

— Ты снежинка, — повторил я. — Ты вся белая. И все снежинки белые. Сегодня они надели свои подвенечные платья. Все снежинки — невесты. И каждая ждет своего принца. Но у них слишком холодные

сердца, и поэтому они никогда не найдут своего счастья, они бегут от тепла и тают, быстро тают, как только кто-нибудь прикоснется к ним. Поэтому снежинки всегда одни.

— Это сказка? — спросила она.

— Нет, это правда. И в ней только одна неправда. Ты не снежинка, хотя совсем белая. Ты не боишься тепла.

— А остальное — сказка?

— Да.

Это была наша большая, светлая сказка, легкая, как снежинка, и таинственная, как ночь.

— Если на бетонном не будет машины, ты проводишь меня до поселка?

— Да. Я провожу тебя до поселка и на край света, даже если на бетонном будет сто машин.

Снег, снег, снег Чистая, волшебная забава зимней ночи...

На бетонном стояли самосвалы. И из первой же машины громко позвали:

— Галка, давай сюда. Поехали Новый год встречать!

Она остановилась. Исчезли верные снежинки, вокруг сверкали хищные желтые огни...

— Жми, Галка!

Она шагнула вперед.

— Снежинка, — шептал я. — Остановись, снежинка...

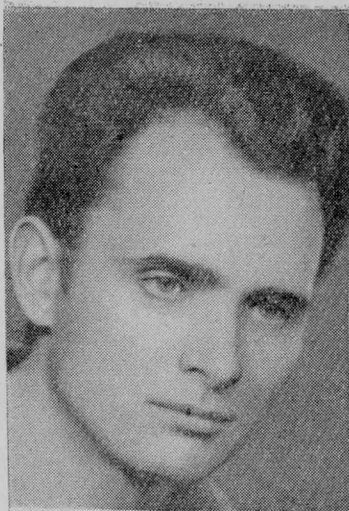
Хлопнула дверца, и из кабинки кто-то позвал вдруг встревоженно и тепло:

— Галинка, ну, что ты, Галинка?

И она ушла. И снова закружились пронзительно белые и холодные снежинки. Они носились в бешеном танце, они поднимались и опускались, они улетали в ночь и возвращались.

Я поднял руку, но они убежали от моей ладони. И только две или три, самых глупых, растаяли на пальцах. Снежинки боятся тепла.

Машины ушли. Я отправился искать электрика.



Василий Казанцев

Чудак

Идет по городу чудак.
Вот подошел чудак к витрине.
И смотрит долго-долго так:
Что продается в магазине?

«Чего же он увидел тут?» —
И все встают за ним толпою.
Проходит несколько минут —
От любопытных нет отбою.

Отходит медленно чудак.
Подходит он к другой витрине.
И смотрит долго-долго так:
А что же в этом магазине?

Чудак по городу ведет
Людей — к витрине от витрины.
Как бы немой экскурсовод
Идет к картине от картины.

Я чудака спросил: — Постой,
Скажи-ка мне, чего ты хочешь?
Чего ты головы морочишь
И водишь свиту за собой?
Тебе, наверно, это лестно?

— Да, знаешь, просто интересно:
На что-нибудь направишь взгляд —
И люди тоже поглядят.

Предубежденье побороть хочу.
Хочу развеять нелюбовь слепую.
Я, может, в глубине души тоскую
По дружбе с ним, по верному плечу.

Я буду через силу заводить
Пустые разговоры про погоду,
Как будто на канате подводить
Себя к нему — все дружеству
в угоду.

Хочу нащупать пониманья нить.
Понять — простить, как говорят
французы.
И буду силиться понять — простить.
В конце концов, мне тяжело от обузы

При каждой встрече быть настороже.
Что ж, претерплюсь к нелакому
блюду.
И вдруг сорвусь. И отвернусь.
И плюну.
И сразу легче станет на душе.

Добру однажды не везло.
И вот, смекнув, в чем дело,
Добро подделалось под Зло
И, в общем, преуспело.

А Зло — давно бы знать пора, —
Не устыдись нисколько,
Всегда от имени Добра
Дела свои справляло.

Неразбериха тут пошла,
Исчезли все отличья.
Добро идет в обличье Зла,
А Зло — в Добра обличье.

И чтоб распутать все дела,
Сказало Зло устало:
«На свете нет добра и зла».
Но это Зло сказало!

За чертой

Нужна черты какой-то нить,
Итог какой-то нужен,
Чтоб человека оценить,
С которым годы дружен.
Пока ты рядом с ним идешь
Среди лучей и тучек,
Он и не плох и не хорош,
Он просто твой попутчик.
Не придаешь его словам
Особого значенья.
Порою даже скучно вам
От частого общенья.
Расстались — что тут горевать,
Проходят дни в надежде
На то, что встретитесь опять,
Все будет так, как прежде.
...Но вот не стало вдруг его.
И горю нет названья.
Не будет больше ничего —

Ни встреч, ни расставанья.
И видишь ты, простясь навек,
Под горькой горя ношей,
Какой же этот человек
Был славный и хороший!
Что раньше было трын-трава,
Сегодня сердцу свято.
Припоминаешь все слова,
Что он сказал когда-то.
Не можешь сам себе простить,
Раскаясь запоздало,
Что не умел его ценить —
Чего-то не хватало.
А не хватало одного —
Желания простого
Увидеть в полный рост его
До той черты,
Живого...

Большое уменье
Во всем я люблю,
В любом проявленье
Его я ловлю:
В заточке деталей
На умном станке,
Что вдруг засияли
В умелой руке;
В работе поэта —
Пусть молод иль сед, —
Что строчки сонета
Сплетает в букет;

В игре музыканта,
Во всяком труде...
Явленье таланта —
Как чудо везде!
И в пенье, и в пляске
Его узнаю —
Особые краски,
Живую струю!
В подземном отсеке,
На выплавке руд —
Ценю в человеке
Уменье и труд!



СЕЙЧАС пять часов двадцать минут. Ровно в шесть земля метнется испуганно, поплывет, размоет отчетливые формы, и город этот покажется махоньким спичечным коробком, случайно оброненным незадачливым путником на овражной тропинке.

Коробок не продержится долго. Он обернется едва различимой, серой на зеленом, капелькой. А капелька, словно убоявшись возложенной на нее ответственности и значимости, задрожит и растворится в призрачном мареве. Будто и не существовала она вовсе.

Потом будут еще коробки и капельки, будет тяжелая вата облаков и необыкновенной прозрачности едко-синее небо, какого никогда не увидишь отсюда, с земли, будет хорошенькая стюардесса и сонный сосед-пассажир. Но до всего этого мне не станет никакого дела. Я знаю: лишь только шасси самолета оторвется от взлетной полосы, мысленно я уже буду в месте назначения.

Они не опоздают, мои друзья. Я узнаю их еще сверху. Обязательно узнаю среди многоликой толпы встречающих... Я так давно их не видел — целых две недели! А они, не дав опомниться, затискают мое утомленное тело, измажут губной помадой щеки, втолкнут в душное такси.

— Ну как?.. Да не тяни, рассказывай...

— Твистанем-свистанем разучил?

— «Сладкую жизнь» посмотрел?

— Погоди ты со сладкой жизнью... Как там с точки зрения войны и мира?

— Газетки, мальчик, читать нужно. Третью полосу... Скажи лучше, правда ли...

А Ленка, до невероятности серьезная очкастая Ленка, — наш «кибернетический бог», — не удержится, чтоб не шепнуть еще по дороге к дому: «Я скучала по тебе. Хотела даже запрограммировать и вычислить вероятность смерти от скуки. Впрочем, можешь не верить». Чудачка эта Ленка!

Первые дни работать как следует мне не дадут. Зав. культбытсектором цехкома попытается расширить за мой счет куцый план оргмеро-

приятый. Меньше как тремя лекциями от нее не отделаться. Три лекции — три галочки!.. Ответственный секретарь многотиражки вкупе с редактором поочередно станут донимать меня, выканючивая серию энциклопедически правильных и евангельски скучных путевых очерков. По три с половиной страницы на машинке каждый. Через два интервала... Ни один турист с нашего завода не избежал подобной участи, а мне не избежать и подавно: я первый из заводских побывал в этом не очень большом, но и не очень маленьком «свободном», но не вольном европейском городке.

До отлета сорок минут...

Вечность!

Вполне можно было бы поваляться еще с полчаса в теплой пружинящей постели отеля, а не мчаться ни свет ни заря на аэродром по пустынным улицам мимо спящих домов и уныло притихших бульваров. Но такова уж, видно, натура русского человека, с давних времен привыкшего жить по пословице: «Береженого и бог бережет». Все боишься: а вдруг не придет вовремя с вечера заказанное такси? Или автоинспектор (не знаю, есть здесь автоинспектора или нет!) вздумает изучать права и путевку водителя? Или сам водитель решит избрать не прямой, а окольный путь? Или где-то что-то... Нет уж, на всякий, как говорится, пожарный случай лучше пораньше...

Город окружен почти сплошной холмистой грядой. Он чем-то напоминает страуса, спрятавшего голову под крыло. Дескать, раз я не вижу, то и меня не видят. Эта ли «страусиная логика» тому причиной или другие какие обстоятельства, но война обошла город стороной. Она взяла лишь мужчин, сохранив камни, из которых сложены стены жилищ. Камни эти не видели разрывов бомб и снарядов, но слез они видели много. Не меньше, чем туристов. Возможно, туристы потому и любят наведываться сюда, что город внешне ничем не напоминает им о прошлой войне. Слезы выплаканы, а камни молчат.

В первую очередь туристы устремляются в нижнюю часть города. Есть тут что-то заповедное: старинные узкие улочки, грубые, причудливой архитектуры дома, кабаки с низкими сводчатыми потолками. Так и кажется, что из-за угла вон того с тяжелыми ставнями дома выбежит сейчас хитрец и весельчак Фигаро и пропоет всем на удивление свою знаменитую серенаду... Но стоит пройти с полкилометра к центру — и тебя ошарашат летящие по асфальту лимузины, стекло и бетон высоченных зданий, прозрачные блузки на женщинах и строгий полисмен, которому костюм Ильи Муромца пришелся бы как раз по плечу.

Я с детства страшился «заграницы». Меня приучили ее страшиться. Строчка в анкете «был ли за границей?» приводила в трепет, и я спешил зывести неровное «нет, не был». И во время войны не был — меня тяжело ранило на украинской земле. В душе я завидовал счастливым, побывавшим неведомые страны, но зато при заполнении очередной анкеты у меня не щемило сердце.

Нет, не был...

А сейчас я стою, облокотившись на кромку массивного парапета, и смотрю на лежащий внизу заграничный город. Аэродром устроен на плоской вершине высокого холма. Громоздкий парапет выглядит чужеродно рядом с легкими воздушными очертаниями аэровокзала. Но за две недели я успел свыкнуться с контрастами. Слишком часто мне приходилось сталкиваться с ними.

Здесь, «на верхотуре», как сказал бы мой приятель монтажник, свежо. Незнобливый холодок лезет за воротник, заставляет поеживаться и поглядывать на часы — скоро ли объявят посадку. Можно, конечно,

утонуть в убаюкивающем тепле мягких кресел. Их предостаточно в почти пустом еще зале ожидания. Но мне хочется попрощаться с городом, в который судьба вряд ли забросит меня еще раз.

Да, был...

С ОРОК минут до отлета...

Я смотрю на подсиненный рассветом город. Улицы различаются с трудом. Зато отчетливо видны крыши. Удивительнейшая, разнообразнейшая коллекция крыш. Островерхие, черепичные, с обязательным беспокойным флюгером на коньке веселят взгляд; плоские и ровные, как теннисный корт, покрыты безжизненным асфальтом и смотрят на тебя угрюмыми стариками; слегка выпуклые, из стекла, подмигивают игриво блесками первых пойманных «зайчиков»; не известно из какого материала, с изломанными линиями пересечений, удивляют, поддаваясь сравнению разве что с исковерканным кузовом легковой автомашины.

Крыши серебристые, бурые, до блеска начищенные, грязноватые... Крыши, как бы хвастливо заявляющие о своей молодости, и крыши, измученные долгим бременем своей тяжелой судьбины...

Под крышами — люди. Тоже разные. Как и кровля над их головой. Они еще спят. Возможно, видят сны. Непохожие один на другой. Это, наверное, хорошо. Одинаковость и похоть недалеко ушли от серости и безликости.

Не дай бог выглядеть так, как вот этот почти рядом стоящий джентльмен с надменным, резко очерченным, но безликим профилем и до глянца начищенными туфлями. Почему мое внимание так привлекают его туфли — не знаю. Может, в их глянце отражается безликость лица?.. Сбоку я не вижу выражения его глаз. Глаза рассказали бы больше, чем легкая седина волос и тщательно выбритый подбородок.

О чем думает он, рожденный иным миром, прощаясь с этим городом? Или просто смотрит вдаль, не думая ни о чем? Второе маловероятно. Человек всегда думает. И сама жизнь человеческая проходит не столько в поступках, сколько в раздумьях.

Неторопливый восход снимает с города дымчатую пелену. Каких-нибудь полчаса — и наступит утро. Многообещающее, желанное утро нового дня.

И первой, — я почти уверен в этом, — встретит его сухонькая, невысокого роста, не сгорбленная годами и невзгодами старушка мать.

Я не знаю ее имени. Я помню только ее лицо. Имя, в конце концов, ни в коей мере не выражает человеческой сущности.

Мать не знала, что сквозь оконные стекла моего гостиничного номера я вижу, как осторожно, словно боясь потревожить сонную еще тишину, поднимает она жалюзи, раскрывает покосившиеся створки рамы и беззвучно шепчет: «Здравствуй, утро!»

У нее натруженные руки и усталые глаза. Руки ложатся на покорибшуюся краску подоконника, а глаза невидяще чего-то ищут. Невидяще потому, что иначе перед ними оказалась бы одна голая стена безжизненного пока отеля и узкая пустынная улица. А так — ее глаза видят многое. Они могли видеть все, что захотят, что хранит еще в себе увядающая с годами память. Пышное белое платье до пят, восковая веточка флердоранжа, маленькая галантерейная лавочка... Теперь от той лавочки не осталось и следа, как не осталось следа от девичьей мечты блистать красотой и нарядами на ежегодных балах, даваемых мэром города в честь именитых граждан.

Ее глаза могли воскресить трех сыновей. Они, ее сыновья, походили на близнецов, хоть и различались возрастом. Только среднего отличал глубокий шрам на подбородке. Ему было десять лет, когда он взобрался на пустую бочку, прикрытую листом фанеры, и начал вытанцовывать румбу. Фанера не выдержала, и он полетел вниз, зацепив подбородком острый край бочковой клепки. Материнское сердце тогда чуть не разорвалось от горя. Но все обошлось, и только ржавого цвета рубец напоминал о глупом случае. Каким бы он был сейчас, ее средний сын?! В шестнадцать он начал отпускать бороду, чтобы скрыть безрассудный поступок детских лет. Но он так и не успел ее отрастить...



Глаза Матери видели и то, чего они не хотели видеть. Они видели Смерть. Прежде чем войти в дом, она предупредительно постучала в дверь. Она принесла мобилизационную повестку мужу, сделав его своим сообщником. Позже, вслед за отцом, ушел убивать старший, а потом и средний сын...

Мать не знает, где их могилы. Она не слышала молитвы при их погребении. Да и погребены ли они? Может, брошены в снарядную воронку посреди поля и лишь для приличия присыпаны чужой землей? Она не нужна была им, эта чужая земля, как не нужна им была кровь таких же, как они, людей.

Когда-то она, Мать, не боялась ничего. Даже шнырявших по подвалу их лавочки огромных крыс. (А какая женщина не завизжит отчаянно при виде этого препротивного вестника надвигающейся беды!) Сейчас она боится всего: наступающего дня, стука в дверь, торопливых шагов на мостовой. Боится включить радиоприемник. Боится даже простых человеческих слов. Слова, по ее твердому убеждению, тоже умеют убивать...

Постояв немного, она опускает веки, проводит морщинистой ладонью по такой же морщинистой подоконной доске и скрывается. А я живо представляю себе, как она суетится в кухне, стараясь не громыхнуть ненароком посудой, чтобы не потревожить сон ее единственного, последнего, чудом оставшегося в живых сына. Если б не он, вряд ли она бы еще жила. И живет, и суматошится она только ради него. И удивляется подчас, откуда достает ей силы носить тяжесть лет, тяжесть давящих дум.

Я знаю, ее сын спит за перегородкой, в соседней комнате. Он спит неслышно, как мышонок. Он всегда спит так неслышно. И если бы он спал все время, ей, Матери, пожалуй, было бы покойнее. Она не боялась бы за него и лишь молила бы бога, чтобы тот посылал ему радужные сны. Но он вот-вот проснется, выпьет чашку кофе, чмокнет ее в щеку, скажет, как всегда: «Выше голову, ма!» — и уйдет. Уйдет на работу, как уходят тысячи. Она знает, он ничего плохого не сделает, но откуда ей знать, что могут сделать с ним.

Ей все труднее бороться с гнетущим, уносящим последние годы жизни, страхом. Прежде удавалось заглушать его молитвами. Сейчас и они не помогают, не приносят успокоения. Она не ропщет. О, нет! Она не имеет права роптать. Ведь бог, ее бог, оставил ей Сына. Пусть только одного, но оставил. Но он может отнять и его. И этого-то она и боится пуше всего на свете. И продолжает, продолжает творить молитвы без надежды, что они достигнут цели. Бог один, горя — много...

Помню, когда Мать уходила в кухню, мне чудилось, что я улавливаю горьковатый запах кофе. И мне тогда хотелось чаю. Крепкого, густой нашенской заварки, без лимона и бутербродов. Просто хорошего чаю вприкуску.

А здесь чай не пьют. Здесь по утрам пьют кофе. Впрочем какая разница — кто и что любит пить!

Ее сын появляется в окне неожиданно. Вдыхая свежесть утра, он стоит так несколько минут, широкоплечий, здоровый, как бы воплощая собой самое первозданную природу. И мне приходится только сожалеть, что я не скульптор и не живописец.

Мать подходит к нему, он что-то говорит ей. Она улыбается, не спуская с него счастливых в эти минуты глаз. Потом он чуть пригибается, чмокает Мать в щеку:

— Выше голову, ма!

Она провожает его долгим взглядом, словно хочет вернуть назад и не отпускать от себя. Он уходит, стуча башмаками по вымощенному булыжником тротуару. Уходит, не оглянувшись. Он верит народному преданию, которое не велит оглядываться уходя. Может, он прав... Я тоже, помню, не оглянулся, когда уходил на фронт. Я не хотел видеть слез, заволокнувших глаза моей матери.

— КРАСИВО?!

Негромкое слово разбивается о бетон парапета. Видеть красоту в слезах матери — не кощунство ли? Хотя люди по-разному судят даже о такой, казалось бы, общечеловеческой эстетической категории, как красота... Или это о другом, не имеющем отношения к моим мыслям?..

Кроме меня и джентльмена с резко очерченным профилем, никого поблизости нет. Значит, это слово произнес он. Сцепив за спиной руки, он смотрит вдаль неподвижным и, как мне кажется, бессмысленным взглядом. Но что он имел в виду, говоря о красоте?..

Ах вот оно что! Его взгляд устремлен на восходящее солнце. Краешек раскаленного диска зажег вершину вынырнувшего из тумана холма, добираясь до крыш городских зданий. Светилу нет никакого дела до нас, стоящих здесь в ожидании отлета. Оно, Время и Свет, работает на нас, не задумываясь. Оно дает Жизнь. Оно может ее и отнять. Это его всевластное право, право Времени.

В природе все закономерно, все рассчитано по секундам, все вычислено по орбитам. За восходом следует день, за заходом — ночь. Человек же и день может сделать ночью. И не так уж смешон кажется мистиче-

ский страх язычников, когда думаешь о людях, живущих в страхе за собственное существование.

Они там, под крышами, защищающими их от дождя, снега и палящих лучей солнца, — не более. Матери, Сыновья, Дочери... Все они хотят счастья. Так же, как и я. Простого человеческого счастья. Правда, наши понятия о счастье разнятся. Они хотят слишком малого. Величайшим счастьем для себя они посчитали бы покой. Без страха, без трепки нервов. И еще — работу. Таковую, чтоб нельзя было ее потерять. А мне этого недостаточно. Мне нужен журавль. Тот, что в небе. Свободный, независимый, немножко гордый. Журавль, несущий на крыльях весну...

Не знаю, ждет ли джентльмен ответа на свое не то вопросительное, не то утвердительное восклицание, но, чтобы не показаться невежливым, я коротко соглашаюсь с ним:

— Да, красиво!

— Жаль спящих... — глухо, почти шепотом говорит он, и я понимаю, что ему до меня нет никакого дела, что говорит он для себя и про себя и, по всей вероятности, не замечает даже, что высказывает свои мысли вслух.

Пусть так. Но кого он жалеет? Всех спящих?.. Но подлецы тоже спят. И подчас более крепким сном.

Сверху город кажется скомканным. Но память — мастерица распутывать клубки.

Вон за той серой лентой крыш нового квартала, в небольшом, не видном отсюда особнячке, спит он, — Тот, в штатском. Ничто не тревожит его сон. Там, где спит он, господствует тишина. Предупредительные знаки оградили этот уголок от грохочущих автофургонов. Сюда не долетают голоса идущих на смену рабочих. Здесь не мельтешишь по вечерам неон. Даже дежурные полисмены стараются ходить возможно тише, оберегая покой обитателей особняков.

Тут начинаешь понимать стремящихся попасть в рай. Таким, вероятно, и представляют его страждущие. За хитро сплетенной тонкой, словно брюссельские кружева, чугунной оградой благоухает сирень. Дорожка от калитки до крыльца посыпана речным песком и толченым кирпичом. Древние исполинские каштаны и колючие акациевые кустарники надежно охраняют обитателей особняков от сглаза, хотя посторонние редко заглядывают на эту улицу. Сквозь просветы в густой зелени различаются томные беседки с изваянными при входе ангелами-хранителями.

После ошарашивающего шума городских улиц на тебя здесь снисходит умиротворение, и любовь к ближнему уже не кажется таким злом, каким она представлялась тебе среди вечной суеты и нескончаемого гомона на центральной площади города. Цивилизация словно обошла стороной этот райский уголок. А телевизионные антенны вполне можно выдать за насесты для апостольских голубей.

Тот, в штатском, едва ли мечтает попасть в рай. Он аккуратно посещает церковь, но отдает предпочтение сатане. И гишина нужна ему для того, чтобы обстоятельнее продумать все детали будущего ада. Не для себя — для других. Он снится и видится ему — тот ад. Ад, в котором истошным криком кричат Матери, где льется отнюдь не голубая кровь Сыновей и Отцов, где корчатся в предсмертных судорогах люди не за грехи земные, а лишь потому, что так хочет он, Тот, в штатском. (Не подумайте, между прочим, что основное население города предпочитает носить военные мундиры. О, нет! Мундиры теперь не приводят в восторг даже старых дев. Проститутки и те стараются держаться от них подальше).

Мне показали его в клубе Деловых людей. Высокий, в элегантном отутюженном костюме и белоснежном воротничке, он казался воплощением добра и нежности. Заложив ногу на ногу, он сидел в низком модерн кресле и вел спокойную беседу с пышным пузатым стариком.

Я узнал его по прищуренному взгляду вовсе не глупых глаз. Я встречал его раньше. Мы оба были моложе тогда на двадцать лет. Свеженький мундир войск СС казался его собственной шкурой. Когда он снимал форменную фуражку, обнажалась густая ухоженная шевелюра. Теперь она немного поредела и... поседела. С чего бы ей поседеть?

Тогда, в сорок третьем, мне думалось, что он, с привычками и натурой хищника, никогда не узнает чувства страха. Его не тошнило от запаха крови и трупов. Он не содрогался от ужаса при виде растерзанного собаками ребенка. Он смеялся над проклятиями Матерей. Он мог ножом, простым перочинным ножом вырезать грудь девушки. Он мог ради забавы разозлить о камень голову младенца. Он мог травить, убивать, вешать. Он все мог — Тот, в штатском.

Он не мог победить. Но это не его вина. Это вина тех хлюпиков, что сидели в штабах. Это вина тех сумасбродов — русских, которые предпочитали скорее умереть, чем ходить под его сапогом. Это, в конце концов, вина сидящего перед ним слишком осторожного дельца и ему подобных. Ничего, сейчас он стал умнее. Он уж постарается скорее отправить мир на тот свет, чем оставить его жить при коммунизме. Для этой цели помощники найдутся. Он возьмет свое. Он покажет людям, что такое настоящий ад...

И сейчас в его глазах нет ни капельки страха. Они холодны и покойны.

Но седина?! От старости? Он еще не стар. От несчастной любви? Но человек с черной душой не может знать, что такое Любовь и тем более — несчастная. Значит, он испытал-таки страх. Возможно, был момент, когда вокруг него сжалось кольцо и расплата казалась неминуемой. Тогда-то и прошелся по его шевелюре страх загнанного зверя. Но свет оказался не без «добрых людей». И словно по мановению волшебной палочки кольцо распалось, растеклось в водовороте политики. Коммунисты оказались страшнее его.

Он мог бы перекрасить волосы. Любой цирюльник в несколько минут придал бы им какой угодно цвет и оттенок. Но нет! Он гордится своей сединой. Как же! Он тоже кое-что пережил. Зря злословят насчет его холодности и бесчувственности...

Мне трудно было отвести от него глаза. Когда-то в далеком детстве, начитавшись детективных романов, я мечтал поглядеть на живого шпиона. Мне не верилось, что они существуют помимо писательской фантазии. Не верилось, что они могут так вот запросто сидеть среди людей, есть, пить, разговаривать... А тут...

Завораживает, оказывается, не только красота, но и прямо ей противоположное. Впрочем, кролик, лезущий в пасть удава, — достаточное тому подтверждение.

— ТРЕТЬ жизни уходит на сон, — бросает в пространство джентльмен. — А треть жизни — это целая молодость....

Мой взгляд скользит по его застывшей фигуре, и у меня совершенно неожиданно возникает с трудом преодолимое желание послать этого джентльмена ко всем чертям вместе с его воздыханиями и до неприличия новенькими туфлями. Ему-то наверняка нечего сожалеть о своей потерянной молодости. Толстый кошелек папаша уж как-нибудь спас его от

сырых окопов. Недаром он говорит лишь о сне. Скорее всего, он жалеет о часах, отданных сну, из-за которых он не смог добавить ко своим миллионам еще один миллион...

«Ах, если бы ты был миллионером!» — сказала мне когда-то в студенческой столовой Ленка, мечтательно закатив при этом к потолку глаза и тщательно пережевывая тощую котлетку с неизменным макаронным гарниром. Что бы тогда было, мне так и не удалось узнать, потому что Ленка тут же схватила стакан с остывшим чаем, выпила и убежала в свою квадратную, на четыре койки, комнатку в общежитии «грызть гранит науки». Она, кажется, и до сих пор больше влюблена в математику, чем в меня.

А я, тоже студент, но старше Ленки на целых шесть лет, — подумать только! — смотрел ей вслед и завидовал. Завидовал ее молодости.

У меня молодости не было. Война жадно проглотила мои восемнадцать и мои двадцать. Проглотила годы, когда так непередаваемо сильно хочется жить, мечтать, слагать свою песню.

Я пел свою песню Ленке. И тогда я видел, что она завидует мне. Чудачка! Разве такому завидуют?!

— Целая молодость! — растянуто повторяет джентльмен.

Я смотрю на него почти с ненавистью. «Что ты в ней понимаешь — в молодости? — так и подмывает бросить ему в лицо. — Как ты представляешь ее себе?.. Ты видел Малыша?.. Конечно же, видел, не мог не видеть, но...»

Но я молчу. Я глажу ладонью холодную поверхность бесчувственно-го бетона. Малыш встает в моей памяти так же явственно, как если бы он стоял рядом, на месте этого джентльмена.

Малышом его прозвали в детстве за маленький рост. И хотя незаметно он вымахал вдруг в высокого двадцатилетнего парня, ухитрившись перегнать ростом своего папашу, кличка так и осталась за ним. Он воспринимал кличку как должное. К тому же в его компании зазорным считалось называть друг друга по имени, и все равно ему придумали бы прозвище. А оно могло оказаться гораздо худшим.

Я расскажу о Малыше Ленке, обязательно расскажу, как только мы останемся с ней вдвоем в ее удивительно уютной комнатке. Она будет сидеть, обняв колени, на диване, смотреть на меня, близоруко щурясь, и слушать, слушать... А может, и не станет слушать, а перебьет на полуслове и скажет: «Ерунда!» Это любимое ее словечко, которое может относиться абсолютно ко всему, кроме математики. И мы заспорим. Я стану доказывать, что это вовсе не ерунда, что если бы она сама видела Малыша, то не говорила бы так... И мы поссоримся. Минут на двадцать. Самое крайнее — на полчаса. А потом станем мириться. Я так люблю мириться с Ленкой!..

Ленка сейчас уже встает, — ведь на востоке рассветает раньше, — пьет недокопьяченный чай, потому что дожидаться, пока он закипит, у нее не хватает терпения... А Малыш спит. Возможно, с ним рядом лежит его подруга — Сова. Так ее зовут все. Так зовет ее он. Он не знает ее «метрического» имени. Оно не интересует его, как Сову не интересует «метрическое» имя Малыша.

Малыш просыпается поздно. Его будит тишина. Она всегда будит его, и он ненавидит ее за это. И дом, свой собственный дом, наполненный в полуденные часы прохладной призрачной тишиной, он ненавидит тоже. Тишина принуждает к воспоминаниям и раздумьям, а ему не хочется ничего вспоминать, не хочется ни о чем думать. От этих дум только болит голова. И утихомирить боль можно только звуками. Теми звуками, от которых взвинчиваются нервы и сам собой вырывается из глотки крик,

заглушающий все. Теми звуками, что секут тишину на части, превращая ее в джунгли, ревущие от свадебного пира зверей. В конце концов весь мир — одни джунгли, где каждый норовит сожрать другого. Так на кой же черт в этом мире нужен человеческий язык!

И Малыш, едва продав глаза, одним нажатием кнопки выносного переключателя взрывает тишину. Переключатель вырывает из ленты магнитофона душераздирающую какофонию, какофонию джунглей. Ту самую, что творится сейчас в мире. Дьявольски талантливый композитор-самоучка, — он плевал на все консерватории! Он сам себе консерватория! — собрал звуки в кулак и выбросил их, не сортируя, по нотным строчкам. Сейчас ничего нельзя рассортировать, ничего нельзя разложить по полочкам...

В первый раз я увидел Малыша на набережной. (Если можно назвать набережной неширокий тротуар, окаймляющий берег давно нечищенного, начавшего зарастать тиной искусственного озера).

Их было шестеро — три парня и три девушки. Они оккупировали отрезок тротуара, заставляя прохожих обходить их. Они бездумно смотрели друг на друга и вышлепывали губами весьма своеобразные звуки. Видимо, находя в этих звуках какие-то признаки ритма, тела их конвульсивно дергались в попытках дать невообразимый рисунок невообразимого танца.

С виду, ни дать ни взять, — наши «стиляги». Броская вызывающая одежда, наплевательское отношение ко всему окружающему, полное отсутствие и проблеска мысли в глазах... Но куда нашим до них, до этих! У тех «стиляг», что фланируют по улице Горького, изредка удостаивая своим вниманием Тверской бульвар, все напускное, поддельное, как расширенные капелькой адрианола зрачки самодельных красавиц. И бравада-то их вымученной кажется, не настоящей. Дай такому хорошего щелчка в лоб, он, глядишь, и очухается. А тут я видел первобытно-животную естественность. Она не вязалась с их одеждой, со всем окружающим, но она жила в их лицах, в их телах и, смею думать, в их сознании. И странно: люди, проходящие мимо, не удивляются, даже не обращают внимания. Как будто так и надо. Как будто в этой «естественности» есть особый смысл существования.

Я пытаюсь найти этот смысл в движениях тел, в оскалах мечущихся улыбок, в застывших рыбьих взглядах... И вдруг догадка: они вовсе не стоят, они бегут, бегут от себя, от других, от всего, что сделано и достигнуто Человеком. Их сумбурная пляска похожа на пляску смерти. Да оно так и есть. Они убивают свое Время...

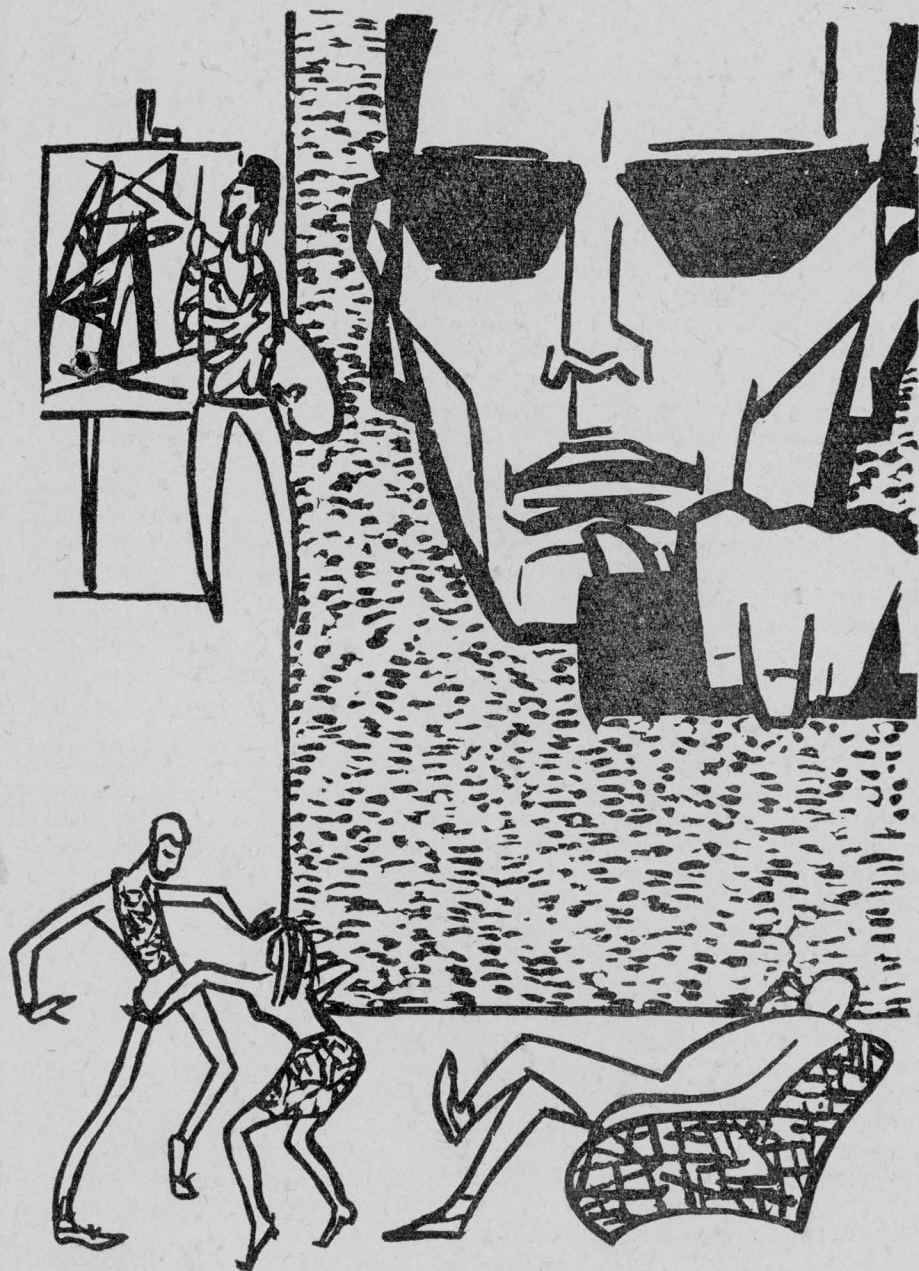
«Бэ-бэ...» — секунда, «тэ-тэ...» — секунда, «пам-пам...» — еще секунда... Драгоценнейшие секунды жизни беспощадно втапывались в асфальт каучуком подошв.

Мне стало не по себе. Я ушел, обойдя их стороной. Мне больно было смотреть, как они сами у себя отнимают Молодость. Сами ли?..

—МОЛОДОСТЬ прекрасна, как прекрасен восход, — слова продолжают лететь в пустоту, срываясь с губ моего незванного «сторожа».

Он по-прежнему стоит неподвижно, как изваяние сатаны, издевающегося над самыми святыми человеческими чувствами. Уж не читает ли он мои мысли, глаголя истины, с которыми нельзя не согласиться, но которые здесь, бросаемые на крыши спящего города, кажутся кошунственными?

Да, молодость прекрасна. Да, ее можно сравнивать с восходом. Но



чья молодость прекрасна? Молодость Малыша?!.. Или еще сотен тех Малышей, что спят под этими крышами?!.

А если и сегодня они услышат то же, что услышали третьего дня, ровно в шестнадцать ноль-ноль, когда я снова увидел Малыша с его компанией?

На этот раз я увидел его рядом с Человеком у фонарного столба...

...Никто не знал, когда просыпается и приходит сюда он, Человек, стоящий у фонарного столба на углу одной из площадей. Казалось, он вечно стоит здесь без сна и отдыха. Его видели торопящиеся утром рабочие, его видели запоздалые ночные гуляки. И если кто хотел встретиться именно на этом месте, то назначал своему другу или подруге свидание «там, где стоит Человек у фонарного столба».

Он не случайно избрал самый оживленный перекресток. Но он не просил подаяния. Он вообще ничего не просил. С небольших фанерных щитков, закрывавших его грудь и спину, глядело несколько неровно написанных слов: «Неужели вы хотите войны?»

Увидав впервые этого человека и прочитав обращенные к прохожим слова, я, честно признаюсь, усмехнулся. Слишком уж наивным показался мне вопрос. Да и не только вопрос — само желание простаивать здесь чуть ли не сутками, несмотря на палящий зной или проливной дождь. Появись такой человек с таким плакатом на перекрестке моего города, его посчитали бы, по меньшей мере, глупцом. Ну кому у нас пришлось бы в голову спрашивать соседа или просто знакомого — хочет ли он войны? Каждый знает, каждый уверен, что ни один человек, проходящий по улицам моего родного города, не хочет войны, не допускает даже мысли о войне. Так зачем же спрашивать его об этом?

Но здесь...

Человек у фонарного столба молчит.

И теперь, по прошествии всего лишь двух недель, я понял его, понял причину, заставляющую приходить его на этот перекресток и бросать людям в лицо немой, но много говорящий вопрос.

Он молчит. Но я знаю — он бы кричал, если б мог. Но он не мог кричать — война отняла у него речь. Может, ему стало бы легче, если б он слышал обрывки разговоров, гомон двигающейся мимо него толпы. Но он не мог ничего слышать — война отняла у него слух. Возможно, он с радостью растопил бы судорогу мыслей в работе, но и этого он не мог сделать — война отняла у него еще и кисть правой руки. И лишь неизбывную боль в глазах, говорящую куда больше, чем могут сказать сотни томов мемуаров и исследований, оставила она ему в наследство.

Я спрашивал: с каких пор он приходит сюда? Никто в точности не помнил. «Давно!»

Сначала мне казалось — к нему привыкли, как к вывеске магазина за его спиной, казалось — его не замечают, как не замечают стоящего посреди площади полисмена. Но нет... Я видел, как стареющий щеголь метнул в сторону щитка-плаката быстрый взгляд и опустил глаза, как девушка плотнее прижалась к плечу своего провожатого, как изменилось выражение лица спешащего на службу чиновника, как криво ухмыльнулся человек в военном мундире, как мальчонка, показав на щит пальцем, спросил что-то у матери, и мать только тяжело вздохнула в ответ...

Нет, его нельзя не заметить, нельзя привыкнуть к нему, к этому живому вопрошающему призраку Войны, как нельзя привыкнуть ко взгляду его усталых, но не отчаявшихся пока глаз.

По утрам его взгляд живее. Или сон снимает усталость, или пробуждается вера в новый день...

Какую же веру нужно иметь в испечаленном сердце, чтобы много

лет каждый день вопрошать людей и бросать вызов современным вурдалакам!

И вот рядом с ним третьего дня я увидел Малыша. Вместе со своей компанией Малыш подошел к нему, ткнул пальцем в плакат, дико, истерично захохотал, а потом обернулся к толпе:

— Ха-ха-ха! Он спрашивает вас, хотите ли вы войны? Почему же вы не отвечаете, а? Почему? — иступленно кричал Малыш. — Не знаете?... А я знаю. Потому что вы не такие кретины, как он. Когда будет война, вас никто не спросит. Ничего не спросит. На вас наденут шинели, и вы пойдете убивать... Пойдете, пойдете... Впрочем нет... Вы никуда не пойдете. Вы не успеете. Вы превратитесь в пыль от первой же бомбы... В пыль, слышите вы, в пыль... В пыль... И вы, и он, и я...

Человек у фонарного столба не шевелился. Он не слышал, но он нутром, видимо, понимал, о чем кричал Малыш. И если бы какой-нибудь художник решился в эту минуту писать с него портрет, то вряд ли нашлись бы нужные краски, вряд ли даже гениальнейший из гениальнейших смог бы передать на мертвом полотне всю боль и отчаяние, затаившиеся во взгляде этого человека. Все тело его, казалось, было пронизано болью.

А Малыш, вырвав из души крик, неожиданно глупо захлопал веками, словно школьник, не выучивший урока, и, чтобы скрыть, вероятно, невольную свою «слабость» перед друзьями, он стал плясать. Его друзей не нужно было уговаривать. И как дикари плясали когда-то вокруг жертвенного костра, так плясали сейчас вокруг Человека у фонарного столба Малыш, Сова... и еще те, чьих прозвищ мне не удалось расслышать.

Они плясали, изуродовав свои лица гримасами. Моментами казалось, что это не люди, а куклы-марионетки, куклы, которым асфальт жжет подошвы ног, но уйти, сбежать они никуда не могут, потому что они — куклы... И вот по чьей-то чужой и злой воле они вынуждены прыгать, дергаться, извиваться...

Люди проходили мимо. Некоторые лишь едва заметно пожимали плечами. Сытый и дородный полисмен снисходительно улыбался. По улице мчались потоки машин. Мимо, мимо, мимо...

В конце концов и я пошел вслед за людской вереницей. Но почти в то же мгновение меня остановил выворачивающий душу вой сирен, заставивший тут же вспомнить полыхающие заревом дома — мои дома, обгавленную человеческой кровью землю — мою землю, перечерченное крест-накрест, потревоженное вспышками зенитных снарядов небо — мое небо. За восемнадцать мирных лет я стал забывать этот вой, несущий смерть и разрушения, и вот он настиг меня теперь в городе, который чудом уцелел от минувшей войны. Я даже не сразу сообразил, что это всего лишь учебная атомная тревога: меня предупреждали друзья о ее возможности.

Вой то утихал, то нарастал с еще большей силой. Он давил на барабанные перепонки, цепко хватал за горло, останавливал кровь в жилах. Но, пожалуй, ужаснее этого воя был крик. Один-единственный в начавшейся суматохе крик, очень похожий на вопль затравленного зверя, у которого нет больше возможности защищаться, и весь страх за последние минуты жизни, всю тоску своего беспросветного существования он вложил в него, в вопль — последнее, что он в силах был еще сделать.

Я оглянулся. Это снова кричал Малыш.

ВОСХОД — это Рембрандт, — пытается увести меня в какой-то иной мир сатана, принявший облик джентльмена. — Природа открыла гению тайну красоты. Мир еще в тени, но первый луч солнца уже пронизал его и принес людям радость...

Сытый голодного не разумеет. Так и филантропу не понять сути собственного лицемерия.

...Опасаясь, как бы полисмены не загнали меня в атомное убежище, я нырнул в первый же попавшийся подъезд и постучал в первую попавшуюся дверь. Никто не отозвался на стук, хотя дверь была приотворена. Не очень вежливо это было с моей стороны, но я вошел. Сначала мне подумалось, что попал я в какой-то склад: сваленные в кучу рамы, куски багета, жестяные ведра, старые кисти... Густо пахло масляной краской, словно ее разлили по всему полу. На стенах висели странные картины. Брошенная на полотно краска будто издевалась.

Я никогда не понимал и не принимал абстракционистских вывертов. От них за версту несло шарлатанством. Не так уж сложно, на мой взгляд, проехаться по залитому свежей краской полотну собственным задом и назвать этот опус опусом номер такой-то... Зад нетрудно отмыть, а опус принесет за «находку» не одну сотню тяжеловесных монет. Сначала опус займет видное место на выставке, где посетители с умными лицами будут доискиваться внутренней сущности данного опуса, не подозревая, чем она заложена, затем он перекоцует в кабинет какого-нибудь дельца — далеко не дурака, человека, знающего что и зачем он делает, — и, наконец, он даст свежую пищу критикам, толкующим о новом методе искусства будущего.

«Кому это нужно?» — не раз вопрошал я себя, когда в руки мне попадал «Курьер» или «Америка».

Этот вопрос вновь выплыл и здесь, в мастерской, как я в конце концов догадался, художника-абстракциониста. Я хотел повернуть обратно, но любопытство взяло верх. Я сделал еще несколько шагов и тут увидел хозяина мастерской.

При взгляде на него в моей памяти всплыл образ незадачливого актера, исполняющего роль поэта, на которого снизошло вдохновение. Зрительное изображение творческого процесса такой актер видит в застывшей позе, остеклявшем взоре, растрепанной шевелюре и в гармошку собранной коже лба.

Художник стоял перед незагрунтованным полотном с чистой кистью в правой руке. Дорого я дал бы, чтобы узнать, что видится ему в этот момент, какими красками оживит он сейчас мертвое полотно, какие мысли перенесет на него.

Я нечаянно задел что-то. Это «что-то» скрипнуло, гроыхнуло, но художник даже не пошевелился. Он весь был где-то там, в неведомом, таинственном, только ему понятном и доступном.

Прекратившийся было вой сирен вновь проник в каждую молекулу окружающего меня воздуха. Художник словно ждал этого воя. Оцепенение мигом слетело с него. Резким порывистым движением он обмакнул кисть в стоявшее у ног ведро, и на полотно легла вертикально-вихлястая черная линия. Потом под кистью верх линии расплылся, приобретая форму не то атомного гриба, не то черного облака. Потом появились еще линии, еще облака...

Художник пользовался только одной, черной краской. С каждым новым прикосновением кисти полотно все более чернело, и мне не к месту припомнился старый анекдот о художнике, нарисовавшем картину с

названием «Бой негров в темную ночь». Но я не засмеялся. Мне не было смешно. Мне показалось даже, что я понял то, что хотел сказать этот человек с растрепанной шевелюрой и собранной в гармошку кожей лба. Конечно, увидев подобную «картину» где-нибудь в выставочном зале, я бы с полным основанием счел «Опус № ...» за шарлатанскую выходку. Но разве можно потребовать разумного от психически больного? Для этого его прежде нужно вылечить.

Я не без внутреннего содрогания смотрел на художника. Проникший в его мозг страх вытравил из души все остальные чувства, подавил, уничтожил, растоптал их. И не он виноват в том, что его воображение не может, не в силах перешагнуть какую-то невидимую ему полосу.

Я хорошо слышал его невнятное бормотанье:

— Рев... Вот основа хаоса! Рев и ничто... Тьма, сплошная тьма... Это — ничто... Черные глаза, черные души... Все меркнет, все — ничто...

Кисть не клала раздумчивые мазки, она, нервно вздрагивая, прыгала по полотну, превращая его в «ничто».

Я тихонько вышел из мастерской, плотно прикрыв за собою дверь. Учебная тревога еще не кончилась. Отсюда, из подъезда, была видна часть улицы. По ней неторопливо шли люди в защитных комбинезонах. Они напоминали пришельцев с другой планеты. Время от времени, словно спохватившись, завывали сирены.

«Где-то они застали Мать?» — думал я. Не мою, а ту, незнакомую, которую я видел по утрам из окна своего отеля, которую встречал потом и в самом людном месте города — на рынке.

Там кричали зеленщики, говорливо бурлили проходы между прилавками и тележками. Спервоначально кажется — у всех одна только забота: поскорее да подешевле купить овощи к обеду и уйти от этого гомона в тишину квартир. Но оглядишься и видишь — все суетятся, но почти никто не торопится. Не нужно быть особым знатоком женской психики, чтобы понять тех из них, чья жизнь в основном проходит на кухне. Где еще, как не на рынке, случайно встретишь подругу детства (если той, конечно, не удалось удачно выскочить замуж, чтобы иметь возможность посылать за продуктами служанку). Где, как не здесь, узнаешь новости, недоступные даже самым пронырливым репортерам вечерней газеты. Да и просто перекинуться парой словечек даже с незнакомой покупательницей тоже неплохо. А если незнакомка окажется еще и внимательной слушательницей, можно высыпать на нее все свои горести, и тогда жизнь покажется не такой уж нежеланной.

Постороннему человеку почти невозможно уловить в этой свалке слов и выкриков осмысленный человеческий разговор. Ухо выхватывает лишь отдельные фразы:

— Баклажаны! Баклажаны! Посмотрите...

— А вы говорите про свое сердце!

— Ай-яй-ай!

— Зачем мне капуста? Мне не...

— Ну и что он ответил?

— ...свести концы с концами.

— Не он изменил ей, а она.

— Если б вы только видели это своими глазами!

— Одну минуточку...

— Сейчас столько людей теряет работу!

— Сладкий перец! Сладкий перец!

— Да, война не сулит...

— Оборвите листья — они же грязные.

Мать шла среди этого вихря слов, присматриваясь к тележкам с

зеленую, не вникая в смысл происходящего. Она и здесь, видимо, чувствовала себя одинокой. Если бы можно было изгнать из памяти прошлое! А оно не уходило, оно давало знать о себе каждой мелочью, нелепой случайностью.

Какой-то мальчуган, обознавшись, потянул ее за руку: «Мама, купи апельсин. Вон там...» Нужно было видеть ее лицо в тот момент! Наверное, ей почудился голос ее сына, того, которого нет в живых.

Мальчишка, убедившись в своей оплошности, тут же убежал разыскивать свою настоящую мать, а она, другая, долго еще стояла в задумчивости, не замечая рыночной суеты, не слыша голосов вокруг себя.

Невысокой, под стать ей, высохшей женщине пришлось трижды окликнуть, прежде чем Мать обернулась. Женщина, по всей вероятности, соседка, затараторила:

— Вы слышали, хозяйка опять грозитя повесить плату за квартиру. Этой жирной свинье все мало! Она говорит, что правительство увеличивает налоги. А какое дело до этого мне? А, скажите... Муж говорил, опять скоро придется бастовать. А на что я буду покупать картофель? Я не говорю о другом. Но картофель-то я должна на что-нибудь покупать. Она мне говорит про налоги. Я сама знаю, что правительство увеличивает налоги, чтобы покупать эти новые ракеты. А почему оно не прибавит мужу заработок, чтобы я смогла купить хоть к празднику кусочек телятины? Скажите — почему?

— Я давно перестала понимать, что творится на этом свете, — устало улыбнулась Мать.

— А чего тут понимать? — вмешалась в разговор толстуха в каком-то странном капоре на голове. — Тут нечего понимать. Мой мальчик учится вместе с сыном начальника полиции, так он говорит...

Мать не стала слушать, о чем сказал сын начальника полиции. Ничего доброго он сказать, конечно, не мог. Мать торопливо рассчиталась с зеленщицей и стала выбираться из толчи. Вскоре я потерял ее из виду.

«Хорошо, если тревога застала ее дома, — думал я. — Там ей легче переносить этот вой. Она стоит на коленях и заглушает его молитвами. Она молит бога о всепрощении. Но какие грехи могут быть у Матери?!».

Малышу хуже. У него нет бога. Никакого бога. Он не молится, а проклинает. Проклинает свою Мать за то, что она его родила. Свой страх он глушит в пьяных оргиях. Среди голых тел в хмельном дурмане забывает все. И жизнь кажется прекрасной...

Тогда, стоя в подъезде, я вспомнил еще об одном чело... Нет, его нельзя назвать человеком. Он — Робот. С детских лет он усвоил две небезуспешно ему внушенных вещи. Первая: он — высшая раса. Его происхождение дает ему право презирать все остальные расы и по возможности уничтожить их, либо сделать своими рабами. Вторая: чтобы подчинить низшие расы, с ними нужно воевать. Если студенистые полушария в его черепе не помогут ему стать генералом, то он должен быть хотя бы верным и примерным солдатом.

Полушария не помогли. Он стал солдатом. Примерным и верным. Для этого требовалось немного — не думать. Не думая убивать, не думая грабить.

Величайшую способность Робота не думать заметил Тот, в штатском, и еще в сорок третьем, на восточном фронте, взял его к себе денщиком. В своем новом хозяине Робот души не чаял. У них всегда водилось хорошее вино и прелестные девочки. После хозяина они уже не царапались и не кусались.

Здесь девочек нет. Тот, в штатском, живет тихо, скромно. И ему, Роботу, приходится пока довольствоваться потной и толстой кухаркой. Но

Робот верит в своего господина. У того голова, как рейхстаг. Соображает что к чему. Не зря он драпал на Запад, чтобы сдаться в плен американцам. Но и американцев его хозяин обведет вокруг пальца. Недаром он как-то вечером у камина рассуждал вслух:

— Американцы дураки. Они любят доллары и боятся коммунистов. А еще они боятся умирать, потому что умирать за доллары было бы слишком глупо. Без страха умирают за идею. А у этих янки нет никакой идеи. Есть только страх, что коммунисты отнимут у них их доллары. Дураки! Коммунистам плевать на их доллары, потому что у них есть идея. И хотя соблазняет она только нищих, она есть. Вся беда в том, что нищих становится все больше. И они клюют на коммунистическую приманку и проглатывают острый крючок. А потом этот крючок начинает царапать в животе, и попавшиеся на удочку начинают визжать от боли. Ха-ха-ха!.. Люди глупы. Они клюют на что угодно. В сорок первом мы тоже клюнули. Слишком соблазнительной была наживка. Но теперь мы поумнели. Нас не возьмешь и на золотую блесну. Золото любят американцы. Они на него и клюют. Они продадут нам боеголовки к ракетам. Они боятся коммунистов и не будут возражать, если эти ракеты полетят в русских. А потом... Потом...

Но что будет потом, Роботу так и не довелось узнать, потому что хозяина позвали к телефону и больше он к этому разговору не возвращался. Да и зачем слова?

— **Х**ОТЬ раз в жизни человек должен полюбоваться рассветом, — продолжает кошунствовать серая статуя, собранная из живых и очень сложных молекул. — Мягкость его красок непостижима. В них хочется утонуть, растопить скорбь душевную. А люди не поняли еще этой прелести. Они спят. Спят и не видят прекрасного...

Я смотрю на восток. Туда, откуда приходит солнце. Туда, где меня ждут друзья, Ленка...

Он хорошо сказал, этот злосчастный тип: «В рассвете хочется утонуть». Чистые, как взгляд ребенка, лучики торопливо и беспокойно пробираются в мир, словно за один отпущенный им день хотят познать всю его премудрость. И чтобы мир не сердился на них за это, они отдают ему то, что могут отдать. Темную зелень лесов они превращают в искрящийся изумруд, росинки — в алмазы, омутную воду озера — в сверкающее зеркало. Они как бы открывают непреложную истину о торжестве душевной чистоты, с которой недавняя ночь ничего не смогла поделать, как не сможет ничего поделать и следующая. Они бегут светлыми бликами по крышам домов, спотыкаясь о завернутые ветром листы железа, заглядывают в окна, тормозят обитателей: «Вставайте!.. Вставайте!.. Ночь кончилась».

Бедные лучики! Они не знают людей. Не знают, что и благодарность может быть черной.

Ну, проснутся, встанут... А дальше?

А что, если бы... Нет, правда, отчего же не помечтать! Ведь должен же восторжествовать разум. Без веры в торжество Разума не стоит жить. Только эта вера дает человеку силы.

Я смотрю, как уходят длинные тени с улиц распростертого передо мною города. И мне думается, что торжество это произойдет обязательно на рассвете. На рассвете, обещающем погожий солнечный день, много погожих солнечных дней. Мне не нужно даже закрывать глаза, чтобы представить, как все это будет. Мне нужно только очень-очень сильно поверить в это.

...И вот я уже слышу знакомый звонкий голос бойкого мальчишки-газетчика. Нет, не один, а много таких голосов. Они сливаются в мощный аккорд величайшего на земле творения:

— Сегодня ночью уничтожена последняя бомба на земле!

— Люди поверили людям!

— Военные бюджеты государств передаются муниципалитетам для благоустройства городов!

— Комиссия помощи отсталым народам получает в свое распоряжение миллиардные суммы!

— Вставайте, вставайте!.. Ночь кончилась!..

И первой, как всегда, встречает новое утро Магь. Она распахивает окно и жадно ловит слова, несущие людям Жизнь. Она вслушивается в мелодию рассвета и плачет, плачет...

Она не плакала много лет. С того дня, как пришло извещение о смерти среднего сына. Она держала слезы в груди. Сейчас они не нужны ей. Пусть льются! Они не понадобятся больше, горячие слезы Матери...

Сюда, ко мне, на этот холм спешит человек. В руках у него плоский чемоданчик орехового дерева. Я догадываюсь, что у него в чемоданчике краски и кисти. А человек этот — тот самый художник, в мастерскую которого я попал случайно во время учебной атомной тревоги. Он немного растерян. Последние годы он писал хаос. Сейчас ему предстоит запечатлеть рассвет. Первый, настоящий рассвет. И он не знает, сумеет ли он найти краски, чтобы передать в них Радость, вытеснившую из души Мрак...

А там, где всегда господствовала тишина, где даже полисмен старался ходить бесшумно, в это утро раздался выстрел. Робот вбежал в комнату своего хозяина, когда тот уже был мертв. Робот смотрит на него и не понимает, что произошло. Робот был только на восточном фронте, но не был в Африке и никогда в жизни не видел скорпионов. Он не знал даже, что скорпион, потеряв надежду, кончает жизнь самоубийством.

Никто, кроме Робота, не услышит этого выстрела. Никто в тот день не вспомнит Того, в штатском. Людям в этот день будет не до проклятий.

Где-то за серой полосой однотонных новых домов-великанов, — мне почему-то думается, что живет он именно за этой полосой, — разбуженный потревоженной тишиной проснется в то утро Малыш.

На этот раз Малыш забывает нажать на кнопку переключателя, потому что тишины уже нет, она нарушена доносящейся с улицы другой, незнакомой ему мелодией. Малыш долго и трудно соображает: что же произошло?! Ведь Это тоже нужно суметь осознать. Он похож на узника, много лет назад приговоренного к пожизненному заключению в темнице и вдруг внезапно очутившегося на свободе. Малыш настороженно осматривается, словно пытаясь проникнуть взглядом в сущность окружающих его вещей. Старое, привычное, знакомое кажется ему совсем не таким, каким было до этого утра.

Лучик солнца падает на настольное зеркало и, отразившись в нем, дрожит на стене. Малыш улыбается. Когда-то давным-давно, — сто веков назад! — он знал, что этот отблеск солнечного луча зовется «зайчиком». Потом какая-то чудовищная машина выключила из его памяти это слово. И вот сегодня он снова вспомнил его.

Малыш подходит к зеркалу и осторожно, словно боясь, что открывшийся ему внезапно новый мир так же внезапно исчезнет, начинает вращать зеркало. Малыш беззвучно смеется: «зайчик» не исчез, он весело

прыгает по стене, по потолку, будто приглашает Малыша поиграть в догонялки.

Пробежав по подоконнику, скользнув по портьеру, «зайчик» вдруг падает на широкую, со сползшим одеялом кровать. На ней лежит девушка. Малыш пристально вглядывается в знакомые черты лица. Новое, неиспытанное чувство просыпается в нем. Он бережно притрагивается к мягкому золоту рассыпавшихся по подушке волос.

Девушка просыпается. На Малыша смотрят удивительно синие глаза. Он никогда не думал, что у человека могут быть такие синие глаза. Малыш смотрит в них и видит свое отражение. А глаза смеются над ним. Им непонятен солнечный блеск во взгляде, который они сейчас встретили. Малыш отводит взгляд и берет в свои руки руку девушки. Она как неживая, эта рука. Она тоже удивлена происшедшей перемене. Ее кожа впервые узнала настоящую ласку. Но она чего-то боится, она ожидает подвоха и потому не отвечает, молчит.

Малыш нежно гладит загорелую, с бесцветным пушком кожу. Потом он робко, по-мальчишески целует ее, едва притронувшись трепетными губами.

— Не надо так.

— Почему?

— Мне страшно.

— Почему тебе страшно?

— Сон не может продолжаться вечно.

— Это не сон. Я тебя обманул. Прости...

Девушка непонимающе на него смотрит. И тогда Малыш, будто боясь, что слова убегут от него, торопится высказать ей то, чем полна сейчас его душа.

— Да, да, я тебя обманул тогда... Я говорил, что ты превратишься в пыль. Так знай, это неправда. Ты не превратишься в пыль. И я не превращусь. Никогда. Понимаешь, никогда... Если ты не веришь — выйди на улицу. Там тебе скажут то же самое. Мы будем жить, жить и жить. Вечно. Ведь отпущенные человеку годы — это вечность. Ты понимаешь?

Девушка молчит. В синих глазах ее видится рассвет. Она неловко, непривычно улыбается.

— Тебя как зовут?

— Сова. Ты же знаешь.

— Нет, не то. Как тебя звала мама?

— Мама?.. Мама звала меня Франсуазой... Она родом из Франции и назвала меня так в честь бабушки...

Франсуаза еще говорит что-то, но Малыш уже не слушает ее.

— Франсуаза, Франсуаза... — повторяет он. — Ты слышишь, как прекрасно это звучит — Фран-су-а-а-за... Это как... как... — но Малыш никак не может найти подходящее сравнение, и он снова, наслаждаясь звуками, говорит: — Фран-су-а-а-за...

И кажется, он до бесконечности будет повторять это имя, чтобы слиться с ним, впитать его, чтобы любить его вечно, как вечна сама Жизнь.

— **В**АМ не страшно?
Чужой голос врывается в мою мечту, возвращая меня из полета воображения в реальную действительность. И это не брошенный в пространство шепот, а довольно громко заданный вопрос. Я не понимаю самой сути вопроса — так не вяжется он с моей мысленно нарисованной

картиной. Да и с его только что пропетым своеобразным гимном красоте и молодости этот вопрос не вяжется тоже.

— Вам не страшно? — повторяет джентльмен.

— Нет. Мне не страшно. А почему вы спрашиваете об этом?

Он отвечает не сразу. Он, как мне кажется, спокойно и холодно рассудочно смотрит на лежащие внизу тронутые рассветом крыши, обдумывая ответ.

Но вот он поворачивает ко мне свое лицо. Я вижу его глаза. И сразу же забываю о недавних сравнениях, поспешных выводах, гладко выбритом подбородке и глянце туфель. И мне нет уже дела до того, миллионер ли он или нищий, — передо мной существо изничтоженное, подавленное. Я вижу только страх в его глазах. Непреодолимый, ощущаемый каждой клеточкой тела.

— Вы понимаете — в одну секунду, в одну только секунду все это может превратиться в прах, в пыль, в ничто... — его рука тревожно дрожа повисает над городом, не находя опоры.

Это я понимаю. И еще я понял, что не петь гимн хотелось ему, а кричать, кричать, как кричал Малыш. Но крик свой он заглушил нищенской душевной скорбью, просящей милостыни у тех, что спят сейчас под крышами этого города. Было в нем что-то от Робота. Не от того Робота-зверя — от другого, более рассудительного, чувствительного, но... Робота.

— Это зависит от вас, — резко говорю я.

Мне нисколько не жаль его. Мне жаль было Малыша, из которого сделали куклу-животное. А ведь он мог бы стать Человеком. Мог бы, но...

— От меня?! — джентльмен искренне удивлен. — Простите, но я не господь-бог. — Он нашел в себе силы даже усмехнуться при этом.

«Я не господь-бог!» Как часто приходилось мне слышать эту фразу при самых различных обстоятельствах! И от кого?! От людей, сотворивших этого самого бога по образу и подобию своему! Зачем приbedняться? Человечество успело доказать, что оно в состоянии создавать более полезные и нужные вещи.

— Да, вы не господь-бог, — говорю я. — Вы — Человек. А это чего-нибудь да стоит. Как вы думаете?

Он не успел ответить. Вернее, мне некогда было ждать от него ответа. Объявили посадку. Уходя, я спросил:

— Вы не летите?

Он покачал головой:

— Нет. Я живу здесь. Там... — он показал на крыши, растекшиеся в первых робких лучах солнца. — А сюда я прихожу, когда меня мучает бессонница. Тут не так душно...

Я киваю и иду к самолету. Спинай я чувствую его взгляд. Что в нем — сожаление ли о потере собеседника, зависть ли к моему спокойствию, или все тот же леденящий душу страх?.. Я не оборачиваюсь.

Самолет отрывается от земли. Город превращается в махонькую коробочку, потом в капельку...

Мне навстречу величаво и самовластно выплывает солнце — огромный раскаленный светильник. Ни остановить, ни замедлить его движение никому не под силу. Ни богу, сотворенному Человеком, ни даже Человеку, сотворившему бога.

~~~~~





## Лада

Над плесами и перекатами  
Висят недвижно облака.  
Любимых называли «ладами»  
В России, в давние века.

Они к реке сходили вечером,  
Неся бадейки не спеша,  
И статью женскую отмечен был  
Их каждый жест и каждый шаг.

Пристрастия наши переменчивы,  
Причуды дня не сосчитать,  
Но до сих пор волнуют женщины,  
В ком русская заметна стать.

И пусть по моде платье узкое,  
Прическа в крупное кольцо —  
Ты для меня, как лада русская  
Душою, станом и лицом.

Люблю твою сердечность строгую,  
И голоса грудного звук,  
И плечи с линией пологою,  
И нежность обнаженных рук.

Как жаль, мы в юности  
не встретились,  
С тобою был тогда другой.  
Но есть очарование в зрелости  
У женщины, нам дорогой.

Его понять дано не каждому.  
Понявший — будет век ценить.  
Так человек, страдавший жаждою,  
Умеет с чувством воду пить.

С любовью можно, как с наградой,  
Идти по дням, в руке — рука...  
Любимых называли «ладами»  
В России в давние века.

# Лед тает весной

## Повесть

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### 1

**С**ТАРЫЕ газеты на подоконнике ссохлись и пожелтели. «Странно, — подумал я. — Как это мы просмотрели весну?» Вася Залыгин высказал мою мысль вслух:

— Ну их, бумаги! Айда на улицу.

Степанида Ивановна повернула чашки циферблатом вверх и взяла со спинки стула свой платок.

— Обедать пора.

Она пошла обедать, а мы — смотреть весну.

Во дворе было серо и мокро. Все было серое: небо, дороги, дома, крыши, снег. Только в поле, если присмотреться, тонко паутинилась зелень. То ожидала верба. По небу суровым строем двигались тучи — тоже серые.

Мы потоптались на холодном ветру и неприличной рысью, пугая встречающих, ринулись в столовую. Радости, про которую пишут в стихах, почему-то не было.

#### 2

**Ц**ЕЛУЮ зиму мы просидели в тесной комнатухе трое — Степанида Ивановна, машинистка парткома, Вася Залыгин, заместитель председателя стройкома, и я — ку-

ратор заводууправления. Нас втиснули сюда без уговоров и велели ждать лучших времен.

Комната наша узкая, как шкаф, и солнце сюда заглядывает только под вечер — прощаться.

Вдоль дома тянется канава, на боковинах которой застыли глинистые бугры и пики. Это — теплотрасса. Осенью о ней шумели на всех совещаниях — выясняли, кому полагается закрывать теплотрассу. Кто-то не доделал, ушел, кто-то прохлопал ушами и принял наобум Лазаря, кто-то еще чего-то...

Перед нашим единственным окошком каждый день разыгрывался спектакль по одному сценарию, но с разными действующими лицами.

— Занавес открывается! — чревоуещал Залыгин, и мы наваливались локтями на столик машинистки.

На дороге впритык, согласно таблице о рангах, выстраивались разномастные машины: впереди «волга» (в исключительных случаях — «чайка»), дальше «победы», газики и в хвосте — «коробочки», грузовики с кузовами, крытыми брезентом. Из легковых медленно выходило руководство, из «коробочек» сыпался народ попроще — прорабы, мастера и бригадиры. Руководство монументально, руки за спину, выстраивалось на краю канавы и покачивало шляпами, мастера самоотверженно скатывались вниз, на дно, где, как спина огромной рыбы, блестя труба, пинали комья глины и, задрав головы, давали объяснения. Потом все повторялось в обратном



порядке: хлопали дверцы машин и занавес падал.

Вход к нам с торца, через косое крылечко в три ступеньки: над крылечком балкон и на балконе кто-то с завидным постоянством вывешивает сушить самые интимные части туалета. Это, конечно, нехорошо, и я вполне разделяю возмущение секретаря поссовета Марии Петровны, кокетливой блондинки лет тридцати, что жилец второго этажа потерял чувство меры. Мария Петровна не раз приглашала меня в понятые, быть свидетелем сурового акта правосудия над зарвавшимся гражданином, но я вежливо отказывался. После переговоров калсыны исчезали с балкона на день-два, но после появлялись опять как знамя несломленного духа.

Наша дверь по коридору последняя направо. У окошка, ближе к свету, столик машинистки, напротив сиюю я, по правую руку от меня — Вася Залыгин. Между разнокалиберными столами можно протиснуться только одному человеку, второй должен становиться в затылок первому и выкладывать свою просьбу буквально через голову.

Новички сперва обращают внимание на Степаниду Ивановну, поскольку она самая солидная из нас. Ей лет, наверное, сорок или больше. Она вся, как шутит Вася, выполнена в стиле рококо, то есть состоит из окружностей. Плавные переходы, мягкие линии... Глаза у нее черные и тоже круглые, подбородок двойной, над верхней губой — бородавка. Эта бородавка с кустиком кудрявых волос к глубокой старости Степаниды Ивановны будет, наверно, здорово пугать малых ребятишек.

Печатает она быстро, но делает уйму ошибок, а слова «самоустранился», «демагог» и «самочувствие», которые так любит употреблять секретарь парткома в своих докладах, выше ее понимания.

В ней мирно уживается здравый смысл и поразительное в некоторых вещах невежество. Особенно трудно приходится с ней Васе, вокруг которого всегда толкуются люди, и у каждого важное дело: один спрашивает, как получить ссуду на застройку, второй хлопочет о путевке на курорт, третьему нужна квартира. И Степанида Ивановна никогда не упускала случая вмешаться:

— Вася, не то говоришь товарищу. Пусть товарищ сперва справочку предоставит о составе семьи, в домоуправлении такие справки дают. Что я не знаю, что ли!

Она не останавливалась до тех пор, пока обстоятельно не перебирала все возможные варианты, которые могут

возникнуть перед просителем на крутой бюрократической лестнице. Вася только головой дергал. Оборвать ее он не смел — неудобно при посторонних, да и бесперебойность машинистки иногда приносила пользу.

Помню, обложил нас, как медведей в берлоге, замучил пенсионер Скворцов — этаким на вид добренький старичок-боровичок: росточком маленький, борода клинушкой, суховатый батожок в руке.

Утром постукивал в коридоре батожок, открывалась дверь и выпускала очередную информацию из неистребимого мира зла. Старик был пропитан гражданской ненавистью к беспорядкам: он жаловался на длинные очереди за картошкой, доподлинно знал, что пекарь в хлеб добавляет мякину, что директор детского сада ворует манную крупу и со двора магазина другую неделю не убирают битое стекло, о котором могут порезаться труженики (зачем, спрашивается, труженикам путаться во дворе магазина!). Пенсионер олицетворял собой живую и неподкупную совесть народа, требовал принять срочные меры и грозился писать «вплоть до ЦК». Когда он уходил, нам с минутой искренне казалось, что мы распоследние чиновники, люди с холодной кровью и черной совестью. Выхода не предвиделось, это был печальный тупик: вель если расследовать хотя бы поверхностно жалобы боровичка, нужно было предусмотреть штатным расписанием на худой конец дюжину широкосплетных парней с детективными наклонностями.

Степанида Ивановна не ведала этих мук и спала спокойно. Но старик надоед, наконец, и ей. И она как-то сказала, прихлопнув пухлой ладошкой зевок:

— Скворцов, а у тебя сын пьяница, житья никому не дает. И ты такой же. Ступай себе и не трясись тут штанами!

Все, мы пропали!

Батог сердито споткнулся возле кабинета парторга. Теперь на Залыгина посыпались желчные анонимки во все адреса. Прощай покой, прощай веселая лазурь и потеплевшее солнце, до свиданья молодость! Старик исчез, как демон в ночи, и унес с собой фантастическую преданность истине. Мы ждали его победоносного возвращения, как жертвы ждут палача. Но он не вернулся. Степанида Ивановна заслужила плитку шоколада, и мы преподнесли ей с аванса шоколад, вручили, не объяснив, за что, ибо боялись поощрять ее деловые наклонности. Она съела подарок и обезоружила нас своей пронизательностью:

— Я этого сквалыгу давно знаю. У них вся семья такая.

— Раньше надо было отвадить его, Степанида Ивановна — ведь сколько крови испортил!

— Вася обижается, когда я вмешиваюсь, не вижу, что ли.

Впрочем, хватит о машинистке.

### 3

**О**СЕНЬЮ я столкнулся на крыльчике со странным парнем.

На дворе сыпала пороша вперемежку с дождем, задувал холодный ветер. Даже в добром пальто я сразу озяб, а на нем была легкая курточка и куцые вельветовые штаны. Вообще он как-то вылез из своей одежды, словно подросток, который сильно обгоняет бюджет родителей.

— Здорово!

Я сперва хотел осадить его: никто, мол, вам не подавал поводов для фамильярности, но он лучился такой неподдельной радостью, что как-то не посмелось сказать грубость.

Парень был черноволос, чернобров, ширококул, и российский нос, лишенный всякого благородства, не портил в общем приятного лица. Он чем-то напоминал даже Жерара Филиппа. Парень протянул мне мясистую руку:

— Василий Залыгин. — Нагнулся, крепко прикатал мокрые волосы ладонью и снова заулыбался. — Будем, значит, знакомы. Через сколько месяцев завод пускают? Я до первого чугуна приехал поработать. Ты инженер? Ты, конечно, знаешь?

Святая простота! Через сколько месяцев! Через сколько лет, спросил бы. Верно, я инженер и как раз поэтому не знаю, когда пустят домну. И никто не знает, но если судить по темпам — в начале будущего столетия. Впрочем, сколько бы ни срывали правительственных сроков, газетчики все равно напишут, что она пущена досрочно.

— Вы поспешили, — сказал я ему. — Сильно поспешили.

— Шутить?

— Нисколько.

Он не поверил и легкомысленно отмахнулся. Переубеждать его, как я понял, было совершенно бесполезно. Блажен, кто верует, но это пренебрежение задело меня. Тоже знаток! И кто ты такой, собственно, есть? Иди себе куда идешь!

— Ты куда сейчас? — спросил он, не замечая моей обиды.

— Обедать.

— В столовую?

— Да.

— Айда вместе. Только вот куда чедодан девать? К тебе можно?

— Что ж, пожалуй...

В столовой Залыгин кроме первого, двух вторых и нескольких стаканов молока выпросил у раздатчицы Нади большую очищенную луковицу и съел ее наполовину с солью. Он так смачно хрустел луковицей, что мне казалось, будто этот хруст было слышно на улице.

После обеда он чихнул пять раз подряд (я сосчитал невольно), подвинул стул ближе и, пока я, обжигаясь, пил кофе, рассказал свою биографию, видимо, искренне полагая, что она заслуживает внимания.

Сам он с Кубани со станицы то ли Радостной, то ли Благодатной. Окончил филологический факультет МГУ, получил свободное распределение и подался на стройку в поисках впечатлений. Пишет, разумеется (кто в наше время не пишет!). Крупного пока ничего не создал, но несколько очерков напечатал в центральных газетах. Работать будет, куда примут, ни на что особенно не претендует (чего бы ради!).

«Что за парень? Или безнадежный дурак, или простая душа?.. Да зачем ломать голову? Сейчас вот допью кофе, скажу «привет» и разойдемся в разные стороны». Так мы и сделали. И я вовсе не предполагал, что мне доведется просидеть долгую зиму рядом с ним в тесной комнате на первом этаже.

### 4

**С** МЕСЯЦ или чуть больше я встречал Залыгина изредка и мельком то на бойком перекрестке, то в магазине или столовой. Он носил теперь брезентовую курточку зеленого цвета поверх фуфайки и стеганные штаны. Работал он бетонщиком сперва на домне, после, кажется, там же на монтажном участке. Жил в новом общежитии на краю поселка, у самой березовой рощи. Приглашал как-нибудь забегать в гости. Я обещал при первом же удобном случае забегать. Оба знали, разумеется, что все это пустое. Но так уж заведено, была бы честь предложена, а там как знаешь.

...Наступила зима.

После снегопадов прочно стали морозы.

Темнело быстро, и даже утро несло в себе меланхолию увядания: едва осыпется серой окалиной дымка, заголубеет небо, как на востоке выковывается уже бронзовая полоска заката и приходит вечер. Вокруг фонарей трепетали радужные венчики, на све-

ту низко лежал туман, и казалось, что ты бродишь по колено в реке. Бродишь, как во сне. Зимой и тьма особенная — она совсем лишена перспектив, она плоская, точно лист железа.

Особенно покойно бывает в такие дни, когда в молчании падает снег.

Пахнет холодной далью, льдом, сосновыми досками, вкусным печным дымом.

Все-таки и зимой жить можно!

## 5

**КАК-ТО** Степанида Ивановна явилась на работу в приподнятом настроении, потому что муж («сам!») подарил ей по случаю дня рождения золотую браслетку для часов. Браслетка была велика, но Степанида Ивановна считала, что не в размере суть — зато вещь тяжелей, и цена, соответственно, выше. А золото, мол, на черный день всегда сгодится. Я по ее настоянию прикинул покупку на вес, рассмотрел ближе, и уши мои налились жаром (у меня, черт возьми, почему-то всегда краснеют уши!). Мне сделалось неловко, будто я был уличен в мелкой краже. Совсе не из золота оказалась браслетка — просто это была аляповатая подделка из дешевого сплава. Такие продают в глухих деревнях и в отделе «уцененные товары» при больших универмагах. Там обычно продают великанских размеров боты без застежек, ядовито-зеленые курточки из плюша, кирзовые сапоги и вот эти безделушки.

Я не хотел, чтобы она заметила мое смущение и отвернулся.

Степанида Ивановна щебетала, как семнадцатилетняя девочка, о семейном счастье, о том, насколько важно для женщины внимание мужа. Ее Иван порядок знает. Конечно, не без того, чтобы не выпить, погулять когда в компании. Ну так, по-людски, прилично. И вот уж что правда, то правда — никогда не забудет ни о ней, ни о детях.

Я думал: «Пусть тешится. Кто-нибудь скажет ей правду про браслетку, злая баба скажет. Мало ли злых баб».

...Рассылная заводоуправления принесла кипу чертежей. Я расписался в журнале и сел разбирать синьки. Во время пришла рассылная!

Застучала машинка. Поговорили и хватит: делу — время, потехе — час.

Степанида Ивановна печатала очередной доклад секретаря парткома стройки с длинным названием: «О мерах по улучшению политико-воспитательной и массово-политической ра-

боты среди комсомольцев и молодых строителей».

В тот злосчастный день нам так и не дали покоя.

Часов около одиннадцати вдруг нагрянул начальник АХО — сумрачный дядька, у которого, судя по выражению лица, постоянно болели зубы. Он прошел в угол, оглядел комнату и крикнул кому-то в коридор:

— Несите, влезет!

Двое пожилых рабочих стали боком протискивать к нам неопределенного цвета стол с четырехзначной цифрой на торце, намализованной белой краской.

Я сперва не придавал значения этим манипуляциям, только ждал, когда закроют двери, потому что дядьки напустили холода, но Степанида Ивановна смотрела в корень. Она спросила в пустоту голосом главного обвинителя на громком процессе:

— Совесть где? Где совесть?

Начальник АХО, кажется, не знал, где совесть, — смолчал, прислушиваясь к нарастающей зубной боли.

— Я ведь пожалуйюсь. Управы на вас не найдется, что ли!

— Согласовано, — мрачно ответил АХО.

— Третий здесь совсем лишний, не видите, что ли!

— Некуда. И согласовано.

— Кто дал команду?

— Партком. Постройком.

Степанида Ивановна грозно подобрала губы, накинула на плечи пуховый платок и пошла искать правду в вышестоящих инстанциях. Вернулась она скоро, была убита и даже не объяснилась со мной. Да и зачем слова — и так ясно, что правды нет. Машинистка со злом навалилась на доклад, будто подрядилась работать сдельно-прогрессивно. Брови ее были туго сжаты у переносья. «Да, — подумал я. — Третий встретит суровый прием!»

...А третьим оказался Вася Залыгин. Это, конечно, не фонтан, как здесь говорят, но могло быть и хуже.

Вася носил теперь кургузый серый пиджачок и предосудительно узкие вельветовые штаны табачного цвета. Я не ошибся, когда предсказал ему мысленно массу неприятностей из-за этих брюк, потому что комсомольца стройки, безнадежно отставшая от новых веяний столиц, еще вела с узкобрючниками непримиримую и последовательную войну, иногда недозволенными методами.

Залыгин сел и, подперев обветренным кулаком щеку, отвернулся к окну.

Степанида Ивановна уставилась на него с брезгливой опаской, как на больного.

Вася сказал самому себе:

— Зима. Морозы, черт! У нас на



Кубани осень. Яблоками пахнет и дынь полно. У матери по двору павлин ходит. Не верится даже, что такое может быть сейчас.

И правда, нелегко представить, что где-то сейчас нет снега и зимы, что там пахнет яблоками и по двору бродит павлин, распустив шикарный хвост, а по дорогам пылят машины, доверху груженные дынями. Дыни, наверно, скатываются с кузовов, хрустко колются, источая бархатистый аромат. Где-то в омутах на черную воду падает лист, распуская рябь, всплескивает рыба, осыпаются подточенные на излучинах берега. Там бездонно голубое небо, простроченное птичьими стаями, которые тянутся на юг. И на зорях сочится отовсюду стеклянный стон журавлей...

Бывает, зимой вдруг остро затоскуешь по всему этому. Но тоска быстро проходит. В самый зной летом появляется вдруг желание помять в кулаке снежный ком так крепко, чтобы сквозз онемевшие пальцы потекла вода. Что поделаешь, нам всегда хочется несбыточного!

Я пожалел Васю Залыгина. Его убил холодный прием, расстроила убогая обстановка комнаты и, может быть, новая, непривычная роль, которую он совсем не знал. А скорее все вместе. Он держался скованно и робко.

— Устраивайся, как-нибудь обойдется.

Степанида Ивановна сочла мою попытку смягчить удар за явную измену и еще злее застучала на машинке.

— Вас как зовут, мы не познакомились? — застенчиво спросил ее третий лишний и протянул руку. Рука его долго висела без ответа. У меня опять покраснели уши. Степанида Ивановна, наконец, сдалась — сунула в его ладонь кончики пальцев, собранные щепоткой, и назвалась.

Я вздохнул с облегчением: худой мир все-таки лучше войны.

Сразу стало ясно, что Вася Залыгин работник не кабинетного стиля. Скоро мы со Степанидой Ивановной уподобились спарринг-партнерам, на которых великий чемпион отрабатывает свои зубодробительные финты.

Началось с приятного.

Однажды пришел средних лет слесарь автобазы в робе, промасленной до блеска новенького роля, и спросил «черного паренка из постройкома». Выяснилось, что Залыгин здорово помог слесарям. Там, в мастерских гаража, обещанного ждали три года, а этот парень (подумать только!) повернул дело за три дня — достал листовую медь.

— Ребята мне показали: «Ступай, Иванович, скажи ему спасибо».

Мы обещали передать спасибо. Нам было лестно, будто и мы доставали эту листовую медь — материал очень дефицитный.

Но скоро медаль показала оборотную сторону.

...Женщина с испитым лицом мученицы сунула Степаниде Ивановне требование на туалетное мыло и просила подписать без проволоочки, поскольку ей надо поймать еще какого-то Мясоедова («Совсем заелся, вражина!»).

В подписи, конечно, было отказано, но просительница металлическим голосом пригрозила вырвать свое из горла: ей ведь обещал содействие и помощь сам товарищ Зарубин из постройкома, он велел зайти именно сюда, в комнату семьи.

— Может, Залыгин?

— Ну, чернявый такой, молоденький... Кто я? Завхоз из детского сада. Мне хозяйственное мыло не нужно, мне туалетное дай. Дети же.

— Залыгина нет, а бухгалтерия — это в тресте. Туда и обращайтесь.

Следующим был колченогий дед с ухоженными гренадерскими усами. Он нам объяснил, что трест содержит небольшую конюшню, и Вася Залыгин грозился ликвидировать ее на днях по причине нерентабельности. Дед упорно не хотел садиться, косноязычно намекал на знакомство с самим Буденным и был глубоко убежден, что ликвидация четырех коней приведет трест и стройку в целом чуть ли не на грань катастрофы. Он удалился с достоинством, приседая на кривую ногу.

И так каждый день!

Терпению нашему приходит конец, и я, чтобы урвать хоть немного времени для собственной работы, обрел силой обстоятельств замашки матерого бюрократа, научился на каждого смотреть исподлобья, как на потенциального врага. Я небрежно брал заявление, читал через строчку и спрашивал:

— Вам что?

— Там же написано! — сразу взрывался жалобщик, морально подготовленный к самому худшему, и тыкал в бумагу пальцем. — Черным по белому написано! Или читать разучились?

— А вы на меня не кричите, не дома!

— А я и не кричу!

— Спокойней оно лучше. По этому вопросу первая дверь направо.

— Залыгин сюда велел...

— Мало ли что он велел! Первая дверь, русским языком сказано!

Редко кто возвращался назад, и уж если возвращался, нам бывало туго. Но лучше уж выпить горького полную чашу, чем в час по ложке.

Терпение, повторяю, таяло и потом лопнуло.

Степанида Ивановна пожаловалась начальству, что не стало никаких условий для работы. Васю заставили упорядочить свою бурную деятельность и установить приемные часы. Он на нас надулся. Но сердиться долго он не мог.

Я все присматривался к нему и старался дознаться, кто же он, собственно, есть — дурак на самом деле, ловкий карьерист, который не жалеет сил для достижения какой-то цели, или простая душа? Но скоро я понял, что он из породы тех редких людей, бескорыстие и простота которых кажутся неестественными — до того они выпирают наружу. Бесхитростный, чистый и наивно доверчивый. У меня этих качеств нет, и, может, потому мы быстро и крепко сдружились.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

**И** ТАК весна.

Воздух поглубел и сделался звонче; на деревьях загомонились птицы. Я видел даже снегиря. Он залетел к нам из тайги, наверно, от избытка весенней удалы: снегирь ведь не любит городов.

Сосульки на карнизах заострились иглами, с них катилась, весело рассыпаясь, капель, и в каждой капле подрагивало золотое зернышко.

Ранняя весна некрасива, может быть, но радует, потому что сразу, щедро распахивает мир во всю ширь, как меха гармони на свадьбе. Отовсюду льет свет, и талые поля напоминают сонное море, усыпанное блестками. Пахнет в такие дни набухающими почками, прелью ложков, холодной сыростью. К этим запахам привыкаешь заново и долго.

Поселок наш напоминал новую квартиру, куда второпях свезли вещи и не успели расставить. Беспорядок временный. Правда, строители говорят, что самое постоянное на площадке — именно временное. Шутка не так уж далека от истины, но мы надеемся на исключение из общего правила.

...Я курирую два цеха из группы вспомогательных — литейный и механический.

Зиму прожил вольготно, но к весне Гидроспецстрой начал рыть котлованы под фундаменты и забот прибавилось вдвое: надо было проверять объемы

работ, готовить подрядчикам поток технической документации, подписывать справки на оплату в банк. Вообще куратор — должность неуютная, поскольку связана с деньгами. Интересы государства блюсти не так-то просто, если от тебя зависит, сколько заплатить.

Вася Залыгин по настоянию секретаря парткома, как я уже говорил, установил приемные часы и три раза в неделю аккуратно, но с видимой неохотой, высиживал положенное и пропустил мимо своего стола длинную очередь страждущих. Ему претила дисциплина.

Словом, все трудились, как могли, жили, как получалось.

2

**...Б**ЫЛО утро. Солнце еще неясно проступало за дымкой, но на южной стороне улицы уже лежали легкие румяна, на дороге теплел ночной ледок. Потом туман разом взмыл — и крыши, снег, кусочек чистого неба подернулись розовым лаком.

Я стоял у окна и любовался этой картиной. Мимо торопились люди и не замечали такого хорошего утра. Только одна девчонка в синем комбинезоне и вязаной шапочке с бобончиком поняла меня и остановилась. Показала на небо, повела головой кругом: тебе тоже нравится?

Эту девчонку я не знал и вроде не встречал ни разу. А она с опаской потопталась на краю канавы и, раскинув руки, скатилась вниз, перепрыгнула через ручей, выбралась на нашу сторону и постучала по стеклу. Я не удивился: сегодня люди имели право на странности.

У нее было своеобразное лицо: широкий лоб, чуть продолговатые черные глаза с бархатной глубиной, большой рот и маленький квадратный подбородок. Чего-то не хватало этому лицу — законченности, что ли... Но глаза! В них была умная смешинка и лукавство. Такой палцы в рот не клади. Она, конечно, воспитывалась в тонкой интеллигентной семье, а комбинезон натянула недавно и ненадолго.

Она играла в классы на асфальте, бегала, нескладная и заносчивая, с нотной папкой в музыкальную школу, была мальчишек острым кулачком, летом ездила с мамой на море, привозила оттуда цветные камешки и гербарии для ботанического кружка. Незаметно выросла и не очень менялась характером.

В общем-то кто ее знает, может, она

и вовсе не из интеллигентной семьи и не ездила на море, не училась в музыкальной школе.

Девчонка крикнула:

— Откройте!

Разве такой откажешь! В детстве, наверно, ради ее каприза пацаны лазали по ржавой пожарной лестнице на крыши и стреляли из рогаток в дворника. В том-то и состоит трагедия мужчин — утешать себя мыслью, что он все-таки сильная половина рода человеческого.

Я мигом взобрался на подоконник, чтобы опустить верхнюю задвижку, и наступил на розовую Васину папку с надписью «неотложное». Рифленный след моего сапога был похож на огромную печать. Залыгин рассердился:

— Ослеп!

— Не клади куда попало! — я швырнул папку ему на стол и изо всех сил дернул филенку. На голову посыпались замазка и прелые куски бумаги. Степанида Ивановна демонстративно чихнула. Собиралась чихнуть еще раз, но, кажется, раздумала: она поняла, что я не уступлю. И как уступить, если девчонка ждала!

Между рамами, в лохматой пыли, лежала бабочка и трепетала крыльями. Я распахнул окно и поднял бабочку. Она вздрогнула на моей ладони.

Девочка увидела мою добычу и засмеялась. Так вкусно смеялась, что и я растянул губы.

— Не летит?

— Нет.

— Вот беда, правда?

Под Степанидой Ивановной заскрипел стул, и я спиной почувствовал, как она сейчас берет свой платок и кутается, поводя плечами, и наверняка поджимает губы — боится сквозняка и не одобряет моего легкомыслия: я ведь, что ни говори, человек женатый. Вася не отрывался от стола и корчил из себя шибко занятого.

С подоконника скатились газеты, зашуршали страницы доклада, сложенного стопкой, — в комнату озорно и неудержимо рвался ветер.

— Подарите мне, пожалуйста, вашу бабочку. — Девчонка стянула желтую vareжку.

— Ради бога!

Но бабочка рассыпалась в моей ладони.

— Не летать ей!

— Нет.

— Чем могу служить? — Я попытался раскланяться, но уперся спиной в сейф лягушачьего цвета (последнее приобретение Васи), похожий на средневекового рыцаря перед ледовым побоищем. — Чем э-э-э... могу служить?

— Извините (снова залихватистый смех). У вас такой вид был...

— Дурацкий?

— Ну, это грубо. Нездешний. Так лучше.

— Я от природы чуткий. У нас в семье сплошь чуткие. Мой дядя даже на фаготе играет.

Она заглянула в комнату и прижала палец к губам. Глаза ее заблестели.

— Кто это там серьезный такой?

— О! Это Вася Залыгин. Массы открыли в нем талант.

Вася даже не посмотрел в нашу сторону. Он сегодня, черт возьми, на самом деле испортился.

— Раньше он был бетонщиком, теперь — крупный общественный деятель. Только выдвижение не пошло ему на пользу.

— Да? Почему?

— Зазнался и очерствел.

Васю, наконец, проняло. Он фыркнул, как еж, на которого наступили, размял папиросу и вышел курить в коридор.

— Есть надежда, конечно, — смягчился я. — Есть надежда. Да.

— Вы помогите ему, ладно, — попросила она вполне серьезно и вынула из кармана курточки аккуратный пакет из синьки. Пока я разворачивал жесткую бумагу, девчонка успела перебраться через канаву обратно, установилась там и помахала мне снятой vareжкой. Она опять смеялась, но я уже не слышал смеха. Она побежала, и бобончик на ее шапке, кажется, названивал с переливами.

В синьку был завернут маленький букет подснежников. Цветы ничем не пахли, разве только чуть-чуть мокрым лугом и снегом.

Я так и не спросил, как ее зовут, не успел.

Стакана в комнате не нашлось, и я воткнул подснежники в горлышко бутылки из-под чернил и поставил бутылку на подоконник.

...После обеда, ближе к вечеру, Степанида Ивановна вдруг решила заняться уборкой. Редкий случай! Второй вроде на моей памяти? Техничка мыла полы и протирала наши письменные приборы каждый день, но по темноте своей боялась прикасаться к бумагам, полагая, наверно, что от перемены места на столе любой документ сильно проигрывает.

Первым делом Степанида Ивановна схватила бутылку — вещь в комнате не самую громоздкую, — в горлышко которой я давеча воткнул букет. Она уже примерилась выбросить цветы в форточку, но я гаркнул:

— Зачем!?

Спина ее сразу обмякла. Она дернула плечом.

— Вот добро-то! Теперь подснежник везде растет, не знаю, что ли!



— Поставьте бутылку на место! Пожалуйста.

— И так негде повернуться.

— Сейф лучше выбросить. Сейф мешает.

— Мне-то что. Я поставлю...

Степанида Ивановна не вышла, а покинула помещение, каменная от обиды, но настроения мне испортить не смогла: у меня в этот день была толстая кожа.

Во дворе все сильнее наигрывала капель.

На вытоптанном пятачке у крыльца милиции пацаны играли в городки; носатая старуха в телогрейке с чужого плеча напротив, за дорогой, расстелила чистую мешковину и вывалила кучу изумрудных огурцов из теплицы. Она торговала с достоинством — товар говорил сам за себя и не нуждался в рекламе.

Я смотрел в окно. Интересно было посмотреть. Что-то неуловимо новое родилось сегодня.

Вася Залыгин помешал придать этой мысли философскую глубину. Он был взлохмачен, как воробей после драки, и виртуозно ругал чиновников, которые мешают ему пустующий особняк взять под детский сад, потому что, видите ли, особняк стоит на балансе не треста, а Гидроспецстроя. Глупое выражение — стоит на балансе! На советской земле стоит, если хотите!

— Баланс — это сила, — назидательно сказал я.

— Иди ты, знаешь...

Вася заблуждался, и я, как старший товарищ, должен был немедленно рассеять это его печальное заблуждение насчет баланса.

— Что говорит физика о трении? Физика говорит: не будь трения, мы бы с тобой катались на собственных ягодицах, как горошины в сухом стручке, и твоих знаменитых вельветовых штанов не хватило бы доехать и до столовой.

— Дурак!

— Так же и баланс. Не будь баланс, вещи и ценность забыли бы своих хозяев. У нас не частная лавочка, у нас государственные организации, и в каждой такой организации есть так называемые материально ответственные лица. Они вроде якорей, брошенных, так сказать, на дно морское, чтобы большие корабли не уносило из гавани. Я э-э-э достаточно популярно объясняю? Не слишком ли много аллегорий? По аудитории и речь. Я хочу выбить из тебя э-э-э анархический дух, что ли, слепое отрицание наших достижений. Достижения наши не отрицают и враги. Да.

— Не паясничай! — Вася сморщил-

ся и подул в мундштук папиросы. — Ты мне надоел!

— Я ему надоел! Учись, глупец, пока я жив!

Мы поссорились. И, конечно, не в последний раз.

3

**Ц**ВЕТЫ в бутылке появились, и я их выбросил.

Но девчонка явилась снова — такая же смешливая и загадочная. Бросила мне несколько прутьиков вербы, туго перевязанных ниточкой. Верба уже отходила, и серьги ее, мягкие, будто кроличий пух, были пересыпаны охряной пылью, которая пачкала руки.

Девчонка не стала разговаривать, только беззубо улыбалась издали. Я хотел посоветовать ей, чтобы в следующий раз добиралась к нам мостиком. Это дальше, зато удобней, но она уже убежала.

Вася поднял голову и посмотрел мимо меня застывшими глазами. Щеки его порозовели и брови прыгали вразлад. Он волновался.

— Ты ее знаешь?

Я в прошлый раз заметил, как он изменился, когда она принесла цветы. И теперь вот краснеет. Не ради же меня она бегает сюда, такая красивая и молодая! Мне никто никогда не посылал любовных записок и не назначал свиданий. И я не сетую на свою горькую участь — давно смирился, еще в детстве, когда мать вытаскивала меня из-за своей спины и представляла знакомым — ушастого, тощего и конопатого. Знакомые наклеивали на физиономии кривые улыбки и начинали хвалить мои выразительные глаза. В них, говорили они, много мысли. Позже во мне находили чувство юмора, и в студенческие годы вдруг выяснилось, что из меня может получиться даже ученый. И тогда нашлось естественное объяснение моей некрасивости: «Талантливые люди все страшные». И сразу добавляли, чтобы рассеять некоторые сомнения на этот счет: «Паганини, например». Убедительно, конечно! Мне никогда не удалось избавиться от сознания собственной неполноценности. А носить камень в себе неприятно, ибо начинаешь смотреть на мир исподлобья. Оттого, наверно, я такой и злоязычный.

— Ты ее знаешь? — пришлось повторить громче, потому что Вася не слышал.

Он очнулся и скривил губы: с какой стати! Он лукавил. Его легко бы-

ло уличить, как впрочем всякого, кто не умеет лгать. Но я не любопытный: не хочешь — не надо.

Степанида Ивановна, однако, была уже в курсе.

По фамилии Клочко. Звать Галиной. Приехала из Москвы после института и работает в техотделе треста. «Что я, не знаю, что ли!»

Она отчеканила это, как срочную телеграмму. Поправила свою браслетку и замолчала. Она еще не простила и сердилась.

Вообще в последнее время у нас стало скучновато. Вася все чаще замыкался, Степанида Ивановна получила участок для сада и увлеклась крестьянством со всей силой перезревшей страсти и воспринимала нас лишь как неизбежную часть канцелярской обстановки.

...А на дворе все тепло.

Оживала трава, в поле скатывался последний снег.

В конце апреля был первый дождь. Он упал теплый и редкий. Он будто робел ударить в полную силу — с барабанным пересыпом и плеском. Так ударить, чтобы захлебнулись стоки и обновились улицы. Дождь упятнал дороги, растушевал пыльные окна и бу-синками застыл на штакетнике.

Я вышел на крылечко покурить.

Туши уже разметало, и солнце приятно грело затылок. Его закатный свет косо бил из-за горы. Вдали едва уловимо блеснула река. У крыльца почти напротив дымил испариной куча досок. Пахло сосновой корой и мокрым железом крыш.

Было шесть вечера. Конторы закрыли, и сторожа, не снимая берданок с плеч, забивали в скверике козла.

Я курил и ни о чем не думал.

С почты вышла девушка. Остановилась тут же и принялась читать письмо. Тетрадные листки в ее руке загибал ветер. Она расправляла листки о грудь и сердито водила бровями. В другой руке держала разорванный конверт. Это была Галя Клочко, наша знакомая. На ней были синие отглаженные брюки, заправленные в ботинки с длинными голенищами, синий же свитер с белыми елочками. Ее короткие волосы шевелил ветер. Читала она сосредоточенно, даже шевелила губами.

— Что вам пишут? Здравствуйте.

Она сунула письмо в карман, перебежала тротуар и встала рядом со мной. Сделала это совершенно естественно, будто мы старые друзья.

— Что пишут? Да ничего, особенно. А вы скучаете?

— Подышать вышел. Работаю.

— Что так поздно?

— Не успеваю. Теперь горячка.

Она перебирала по перильцам нерв-

ными пальцами и тихо улыбалась за-кату и, наверно, своим мыслям. Я рассматривал ее внимательно, потому что она меня занимала, неразгаданная.

У нее все-таки своеобразное лицо: широкий лоб и узкий подбородок лопаточкой. Асимметрично, но неуволимо благородно. В ней, как говорят, чувствовалась порода. И глаза. Не просто черные, а бархатисто-черные, мягкие, без дна. Тонкие, капризного рисунка, губы. Она, по-моему, не так уж и простодушна, какой кажется сперва.

— Вас зовут Галиной?

— Знаете, по латыни Галя — курица.

— Ну уж...

— А вас как зовут?

— Семен Галенко, к вашим услугам.

— Очень приятно.

— Не думаю.

— Почему же? — она повернулась ко мне и наморщила лоб.

— Да так...

— Где же ваш синенький?

Я не понял. Она засмеялась и объяснила, что различает людей по цвету. Это трудно передать словами, это надо чувствовать. Характер, привычки, короче, сущность человека можно определить цветом. Не слышали? Оказывается, Вася Залыгин — синенький. Вот бы не подумал!

— Теперь это модно, — сказал я. — Теперь научились видеть ухом, слышать глазами, цвета различать всеми частями тела. Я в «Труде» недавно читал про девчонку, которая через стенки сейфа видела печати. А вы для определения сущности своих знакомых не пробовали пользоваться нотами? Нотами удобно: до, ля, ми, фа... Масса оттенков. Нет? Жаль.

Я попытался представить, какого цвета, например, Степанида Ивановна.

Получилось что-то неприличное.

— Ну, а я какое место в вашей палитре занимаю?

Она пощелкала пальцами и задумалась.

— Вас пока не воспринимаю...

— Так и знал. Вася, значит, синенький?

— Темно-синий.

— Вот как!

— Вы почему мои цветы в воду не ставите, они же быстро вянут?

— Да как-то знаете...

— Я на вас сердита. До свидания.

— Подождите!

Я хотел ее задержать, но и мне надо было срочно ретироваться: симпатичная блондинка из поссовета делала невдалеке боевой разворот — на балконе опять висели кальсоны.

**П**РОРАБ Гидроспецстроя — пожилой солидный мужчина — ушел от меня с тяжелым вздохом: я отказался платить за липу. Прораб знал, что я прав, но он знал, что другие-то платят, и мое упрямство относил только за счет молодости. Обещал «это так не оставить».

Я пожалел его. Вообще после таких разговоров бывает неприятно и хочется побыстрее отвлечься, чтобы не думать о вечном разрыве между хорошими намерениями и плохой практикой.

С самого утра меня что-то тихо беспокоило. Эта смутная тревога не оставляла меня даже во время тягостных препирательств с прорабом.

Я был один. Вася, как обычно, мотался по стройке, Степанида Ивановна отпросилась с работы и уехала в совхоз за рассадой.

Уйти было куда-нибудь из этой неудобной, заваленной бумагами комнаты!

На подоконнике, в щербатой поллитровой банке, осыпался букет огоньков. Вот оно что! Давно к нам не заглядывала Галя Ключко. Наверно, рассердилась. На самом деле, девчонка старается, а мы, толстокожие, нуль внимания. Надо хоть полить цветы...

Я взял графин и пошел искать воду.

В коридоре раковина была завалена окурками, из крана торчала деревянная пробка. Вот те раз! Где же воды взять? В столовую бежать далеко, в трест еще дальше... Потом меня осенило: ведь на втором этаже квартиры!

В темном подъезде пахло кошками и капустой. Слепцу не мог различить номера на дверях. Впрочем, все равно, куда стучаться, и я робко постучался в дверь направо.

— Проходи!

Я споткнулся о сапоги, брошенные у порога, и прошел в комнату.

В дальнем углу на диване сидел тощий парень в трусах и читал газету.

Квартира была убрана с деревенским уютом и почти сплошь застелена половиками. На кровати дыбилась гора сытых подушек; над диваном в большой самодельной рамке пестрели фотографии родни всех времен и возрастов.

Я кашлянул.

Парень отложил газету, и я сразу его узнал. У меня хорошая память на лица, да и невольно запомнишь, если на днях-то не один раз проходишь мимо Доски почета, на которой вот уже, пожалуй, год красуется портрет лучшего шофера стройки, бригадира ма-

зистов Толи Соломатина. Мне он представлялся таким верзилой с пудовыми кулаками и луженой глоткой, а на диване сидел и щурился раскосый лопоухий мальчишка, постриженный ежиком.

— Чего тебе?

Я увидел балконную дверь, и меня осенило.

— Это вы нижнее белье на балкон вывешиваете?

Смятая газета полетела на пол, Соломатин дернулся, точно напоролся на гвоздь, и вскочил.

— Опять!? — крикнул он и выкатил глаза. — Ты из поссовета? Ты думаешь, я их вешаю, кальсоны? Жена вешает, Оксана. Ты женатый? Вот женишься и поймешь. Ей, видишь, забавно, как та женщина из поссовета ругается. В кино, мол, попасть трудно, так хоть дома дай напереживаться. Может, вдарить? — у моего носа близко навис костлявый, плохо отмытый кулак.

— Кого вдарить?

— Оксану. Я ее уже всяко пробовал убеждать, так не помогает.

— Вдарить — это пережиток. Лучше уж совсем бросить.

— Кого?

— Оксану.

— Ты скажешь! — он почесал затылок и нахмурился. — Воспитывать надо, вот что. Несознательная она еще, понял. Из деревни взял. Это мы поправим, слово даю! Белье куда-нибудь затырю, летом оно все одно ни к чему. Я ей говорю, Оксане: «Ты свое вешай». Неудобно, говорит. А мое, значит, удобно: любуйся, стройка, в каких подштанниках передовик Соломатин ходит! Вы присаживайтесь, как вас?... Давно в поссовете работаете?

В этом парне энергии было на двоих, а то и на троих, и я уже начинал раскисать, что вывел его из состояния покоя и равновесия: он метался по комнате, как тигр в клетке, — пытался сразу надеть брюки, майку, причесаться, закурить. Искал носки, пинал войлочные туфли, которые ему почему-то попадали под ноги... Я таких людей боюсь — они, что лавина: не успеешь пикнуть, и ты уже погребен.

Я выставил перед собой графин и попытался. Пытался объяснить, что я не из поссовета, а инженер с первого этажа и насчет белья просто пошутил. Мне бы водички... Но куда там, он не слышал.

— Я не из поссовета, эй!

— Что?

— Я с первого этажа, мне бы водички...

Соломатин резко затормозил и начал двигатся в темпе замедленной съемки: подобрал газету с пола, заты-



нул пряжку ремня на брюках, сунул ноги в свои войлочные туфли и сел на диван. Долго и неприятно смотрел на меня стеклянными глазами и вдруг снова взвился, осененный идеей:

— Выпьем? У меня выходной.

— С чего ради, я на работе!

— Гости были. Пол-литровка осталась, давно стоит. Один пить не могу, понял. Не получается из меня пьяницы. — Такое неподдельное огорчение выражала в этот момент его лукавая физиономия, что я невольно вздохнул: как не повезло, однако, человеку!

Он потащил меня на кухню и усадил возле тумбочки, покрытой зеленой клеенкой, и с ловкостью циркового эквилибриста метнул закуску: алюминиевую чашку с капустой, полбулки хлеба и кусок колбасы. Мне налил граненый стакан, себе — рюмочку.

— Ну, будем! Тебя как зовут? Семен? У меня есть приятель Семен, по фамилии Гришин. Не знаешь? Начальник колонны у нас Семен Иванович. Хороший мужик, высшее образование имеет. У меня отец тоже Семен, но без высшего. Ты пей! Тебе стакан, что слону дробина, по глазам вижу. Ну, давай! Чтоб, значит, дома не журились. Да ты что, маленький? Не обижай хозяйина, давай, давай! Только сразу, единым махом, понял!

Моя голова ощутимо пухла, увеличивалась в размерах и вот-вот должна была с треском лопнуть.

У водки не было вкуса, у капусты тоже.

Я ринулся прочь. Соломатин наступал на пятки и приглашал забегать как толкано выпадет свободное время. И Оксана у него гостей любит...

Я кубарем скатился с лестницы.

На улице было по-прежнему солнечно и хорошо. И люди вроде никуда не торопились. Это и понятно — они не имели дела с Толей Соломатиним. Я же был теперь под высоким напряжением, из меня прямо искры сыпались. Срочно требовался объект для приложения энергии. И объект в лице Васи Залыгина стоял на крылечке и курил. Я поставил на нижнюю ступеньку графин, схватил Васю за рукав и без слов потащил. Мы остановились у почты перед кучей досок.

— Берись!

Взял самый длинный и тяжелый горбыль.

Вася по моей команде прошел со своим концом у самой стенки нашей конторы, до окна. Я, спотыкаясь о кирпичи и разный мусор, брел по дну тепло-трассы и нес на поднятых руках другой конец. «Рр-аз-два, гоп!» Горбыль прочно улеся на закраины канавы. Теперь к нам цветы можно носить хоть пудами.

Вася сидел на корточках и щепкой чистил грязь с ботинок. Моя затея не произвела на него никакого впечатления, он держался обидно равнодушно.

— Хорош мостик, а!

Залыгин вытянул меня за руку наверх.

— Ничего, говорю, мостик, а?

— Не придет она больше, — сказал Вася и бросил щепку. — Зря старались.

— Обиделась? Так и знал. Правильно обиделась. Но мы извинимся и цветы будем поливать.

— Теперь уж совсем не придет...

## 2

**Я** ЧТО-ТО плохо соображал, куда мы идем и зачем так торопимся. Граненый стаканчик Соломатина делал свою предательскую работу: в желудке у меня приятно катался теплый комочек, в голове названивали колокольчики. Я хотел спеть «На нем защитна гимнастерка...», но постеснялся только по причине плохого слуха. У Васи походка была какая-то чересчур решительная. Я нагнал его и попросил убавить шаг: ведь нигде, кажется, ничего не горит, дыму по крайней мере не видать!

— И куда ты меня ведешь?

— Сейчас! — Вася свернул направо и через пустырь, изрытый под фунда-менты, направился к больнице.

У нас в поселке плохонькая пока больница — одно название. Она занимает половину жилого дома, и, конечно, всякий, кто хоть чуточку уважает свои закоренелые болезни, услугами такого кустарного учреждения не пользуется, предпочитает ездить за двадцать пять километров в город, где есть именитые доктора. Здесь вроде и стационара нет?

...В тесном вестибюле было полно. У окошка регистратуры толкалась длинная очередь. Конец ее пропадал в полусумраке коридора. На лицах стыла скука, и потому люди казались похожими.

Зачем мы-то сюда явились, спрашивается?

Вася потянул меня к раздевалке. Там старушка, которая его уже знала, подала нам два халата и велела одеваться. Я запутался и напялил свой задом наперед. Верхние тесемки были сборваны, я завязал на животе нижние. Вообще выглядел нелепо, потому что даже усатый дядька, который держался за щеку и приседал от зубной боли, согнал с физиономии кислое выражение и распахнул рот, будто сель-

ский простак, встретивший на улице лилипута. Я уцепился за Васю, как дитя за мамку.

Мы попетляли по каким-то темным закоулкам и оказались перед дверью со стеклянкой табличкой «главный врач». У этой больницы есть главный врач, скажите пожалуйста.

Вася приложил палец к губам: ты, мол, осторожней!

Комната была очень маленькой и очень белой: стены белые, столик белый, кровать у окна — тоже белая. На столике стоял графин с водой, рядом — перевернутый на блюдечко стакан. Я охнул про себя: наш-то графин так и остался на крылечке! Ему уже, конечно, приделали ножки. Степанида Ивановна объявит мне кровную месть, поскольку весь инвентарь и всю мебель АХО записал на ее имя и она у нас материально-ответственное лицо. Да-а-а...

На стакане подрагивали капли воды. Я не сразу увидел, что на кровати кто-то лежит. Профиль четко выделялся на фоне низкого окна.

Вася опять приставил палец к губам и поманил ближе.

Я присмотрелся и обомлел: на кровати была Галя Ключко! Но как она не похожа на себя: лицо заострено, янтарно-прозрачное. Старое. Черные волосы разметаны по подушке. Она мертвая? Она ведь не дышит! И руки ее сложены, как у покойника, на груди. Не может быть! Я расцепил эти руки и уложил их вдоль тела. Залыгин сзади пытался оттащить меня от кровати, но я не хотел уходить, я ждал. Наконец она медленно открыла глаза, влажные от боли. Смотрела прямо и широко — точно слепая.

У нее до самого подбородка была перерезана шея, висок пересекала голубая ссадина.

Силилась что-то вспомнить. Вспомнила, Она собрала у переноса морщинки, и в ее глазах чуть затеплилась улыбка.

— Здравствуйте, Семен Галенко, — сказала одними губами. — Как мои цветы, Семен Галенко? Больше вам никто уж не принесет цветов, мальчишки...

— О! — ответил я громко, с тем познанным и суетливым оптимизмом, к которому мы подсознательно прибегаем, когда обращаемся с тяжело больными. — Цветы поливаем, как же!

Вася сел на стул в изголовье, я пристроился напротив, в ногах. Она теперь молчала, только вздрагивала ресницами.

У меня защемило сердце, и я вспомнил, что вот такую же острую жалость к человеку я уже испытывал однажды. Это было года три назад.

...Поезд споткнулся на полустанке

где-то возле Рязани. От таких полустанков, которые еще встречаются на большом пути, удивительно сильно пахнет старой Русью.

Вдоль полотна плотно стояли тополя, и пятнистая тень от них кипела на вагонах; по дороге за станцией бежал табун лошадей, и копыта их дымилась пылью; за дорогой белели хаты, крытые соломой. Они были похожи на грибы, выросшие рядом на чистом месте.

Над деревней догорало солнце.

Парной воздух был настоян полыньей. На разные лады дружно стрекотали кузнечики.

Я прошел по дощатому перрону, усыпанному семечковой шелухой, лениво заглянул на базарчик. Там разбитные тетки, говорливые, как сороки, торговали вареными курицами, дынями, помидорами и яблоками. Ощипанные цыганки предлагали пассажирам веревочные лапти. Народ азартно брал по две, а то и по три пары — для смеха. Тогда я и натолкнулся на нее.

Она была слепая.

Она сидела у забора на черной от копыти траве и пела чистым девичьим голосом. Но лицо у нее было рябое и страшное, наверно, от того, что оба глаза закрывали выпуклые бельма.

Пела весело, без ноющего надрыва:

...Любовь нам одна  
На веки дана,  
И дружбой она скреплена...

Я сперва подумал, что слепая поет для собственного удовольствия, но нет; рядом стояла жестяная кружка. На дне кружки валялся пятак, брошенный кем-то, наверно, давно. Ее это, видно, не беспокоило: она отдавала людям свой праздник — и все.

Рядом торопилась жизнь, разбудившая дрему полустанка всего на несколько минут, и никто не обращал на слепую внимания. Пассажиры хватали веревочные лапти.

К горлу подкатил колючий ком, и я тихонько сунул в кружку рубль.

И ушел.

До сих пор не могу четко представить, что так растрогало меня тогда, но я был твердо убежден, что девочка несправедливо обижена судьбой. И знает об этом. Во мне поднялась ненависть против чего-то темного, безликого, чему нет названия. Почему одним дается все, у других отнимается последнее?

И вот теперь.

«...Валя, Валентина, что с тобой  
теперь —  
Белая палата, крашенная дверь».

Человек, конечно, сложен и разнообразен, но в каждом обязательно

есть что-то главное, его обычное состояние, что-ли... Вот ей, например, очень идет смеяться, как-то к лицу ей эта легкость и милая загадочность. Я привык видеть ее такой, и потому ощущение непоправимой беды было во мне особенно сильным.

Оставалось только догадываться, что произошло. Может, она попала под машину, может, оступилась с лесов где-нибудь на площадке? Я вдруг рассердился на Васю: почему не сказал, почему дурачил меня до последней минуты? Но на него сердиться теперь было глупо — он тяжело переживал несчастье. У него запали глаза, и весь он как-то сжался.

Вася упер подбородок в ладонь и неслышно смотрел на нее.

Висела томительная тишина.

Где-то дребезжало радио: «лобзай меня, твои лобзанья...» Где-то ходили, говорили, кашляли. А здесь была тишина. Я все хотел сказать: «Листья уже распустились». Ветки липы свешивались на окно. И на ветках проби- валась зелень. Хотел сказать и не ре- шался: ее ведь не надо беспокоить.

«Листья распустились».

На пустыре ребятишки гоняли фут- бол. За мячом носилась лохматая со- бака. Хвост у собаки был закручен ве- селым крендельком.

По ту сторону окна бушевал весен- ний день.

Галина пошевелила губами. Вася рывком наклонился к изголовью и изу- мленно поднял брови. Странно, корот- ко глянул на меня. Я привстал — чего?

— Она говорит, что теперь воспри- нимает тебя. Ты цвета слоновой ко- сти, — и пожал плечами. Он ничего не понимал.

— Мальчики, — мы едва слышали ее. — Я буду посылать вам цветы в конвертах, чтобы вы меня не забыли, ладно? Вам скучно со мной? Вы сту- пайте...

— Помолчи, тебе нельзя разгова- ривать!

Бесшумно появился главный врач — молодой щекастый парень — и катего- рически заявил, что посторонним здесь делать нечего. Вася не принял это на свой счет. Значит, посторонний только я.

— До свиданья, Галя. Я еще наве- даюсь.

— Прощайте, Семен.

— Ну, уж прощайте! До свидания. Я постоял еще немного, но она мол- чала.

С водки разболелась голова, во рту высохло. И вообще свет был не мил.

Я терялся в догадках: «Что с ней? Когда это случилось?»

...Уже в пятом часу явилась Степа- нида Ивановна, довольная удачей: по- думать только, безо всяких хлопот до- стала три ящика помидорной рассады!

В воскресенье собиралась ехать за цыплятами.

«Вот кто знает!»

Она на самом деле знала.

Как-то вечером с неделю назад Га- лина Ключко дежурила в дружке на поселке и первая заметила человека, который через дыру в заборе вылез со двора магазина. Человек держал под мышкой целую штуку материи и брел кое-как, потому что был абсолютно, до глупого, пьян. За ним по грязи тяну- лось, разматываясь, тонкое костюмное сукно. Галина оторвалась от своих и тихонько пошла следом. Наступала на сукно и человек падал. Она смеялась: вот глупый какой — пьяный, а кра- дет!

Пьяного парня, известного в поселке хулигана по кличке Резаный, сдали в милицию. И вроде все забылось. А вче- ра ночью, когда Ключко одна стирала на кухнеке общежития, ее кто-то уда- рил сзади по затылку. Она упала и потеряла сознание. Час был поздний, и пока проснувшись от шума, пока хва- тились, тех и след простыл. Из окна соседнего дома видели двоих, но пойд- и узнай, кто они! Успели скрыться...

У Галины врачи нашли перелом двух ребер и повреждение позвоночни- ка. Умереть, может, и не умрет, но горького хватит до слез, если на всю жизнь не останется калекой.

— У меня свояченицу тоже муж избил, так ноги отнялись. И этой па- ралича не миновать, не знаю, что ли!

— Вы бы не каркали, Степанида Ивановна!

— Я и не каркаю! — она обиженно замолчала. — Вы со мной, Сема, так, пожалуйста, не разговаривайте, у ме- ня тоже самолюбие есть.

— Оставим это, Степанида Иванов- на, все равно не пойдем друг друга.

— Отчего же не понять, мы же взрослые. Я же вижу, что вы серд- итесь на меня последнее время, но за что?

«Мы взрослые. В том-то и беда. Слишком взрослые...»

3 А Галиной Ключко прилетела мать из Москвы. Провожать я не пошел. Кто там во мне нуждается, да и зачем быть там, если проводы больше похожи на похороны.

Вася сказал, что я черствый и мне





недоступна жалость. Он был, конечно, неправ: мир без нее стал бедней; очень мне не хватало теперь ее смеха, увядших цветов на подоконнике и чуть волнующего ожидания новых встреч. При ней всегда вспоминалось хорошее, а ведь даже и нам, черствым, есть что вспомнить — не так уж мы бедны на радости.

На этот раз ссора наша могла зайти далеко, если бы не один случай.

В конце апреля на площадку приехал председатель совнархоза со свитой и открыл полосу думных заседаний, которые обычно сопровождаются резолюциями, написанными с категоричностью военных приказов. Начальство уплывает, как грозовая туча с

безмятежного неба, приказы, теряя свой боевой дух, мирно оседают «на местах», и реки снова ложатся в русла свои. Я напишу когда-нибудь целый трактат, где подробно изложу свою точку зрения на этот предмет. Тем пока и утешусь.

Итак, однажды заседание кончилось почти в одиннадцать вечера.

Я остановился во дворе треста, сердито бросил только что зажженную папиросу — надоело курить — и, раскинув руки, сильно задышал. Воздух был сырой и пахучий. Только что затишье дождя. С деревьев скатывалась вода и громко стучала по листьям. В лужах желтели огни. Луна ныряла в поредевших облаках, и облака от ее све-

та становились перламутровыми. Набрыкшие, зеленовато-синие звезды, кажется, готовы были весело посыпаться с неба.

Я прикинул, какой дорогой идти домой.

Поселок начали благоустраивать, а благоустройство, если за него еще берется общественность, — кампания горячая и короткая. После нее остается много лишних ям, опасных для любого вида транспорта. Напрямик, мимо нашей конторы, пожалуй, всего удобнее... Я перешагнул через штакетник, обнесенный вокруг тощего трестовского скверика, и, подсвечивая карманным фонариком, направился к почте.

Слушал ночь. Ночью отчетлив каждый звук. Днем их меньше, вернее, они однообразней. Да днем как-то и некогда прислушиваться к тому, что творится рядом и вокруг.

Откуда-то донесся напряженный шепоток влюбленных; на разгрузочной площадке вздыхал паровоз; лаяли собаки, в дальних кустах у болотца кричал коростель.

Песню бы кто-нибудь спел сейчас! Только задушевно. И негромко.

Я уже ступил на край доски, которую мы положили для Гали Ключко, и замер: на дороге, в жидком свете единственного фонаря, сцепившись, топтались двое. Они были шагах в десяти от меня. Один стоял спиной, и рука другого комкала его рубашку, задранную до затылка. Спина была грязная, в кровоподтеках и ссадинах. У второго, высокого парня в лыжных брюках, на лицо рассыпались белые волосы, из носа у него струйкой сочилась кровь. Этого я не встречал ни разу, зато спина... Вася Залыгин!

Они дышали хрипло, а высокий — со стоном, сквозь сжатые зубы.

— Эй! Вы что?

Никакого впечатления.

Я вдруг понял, что так яростно и молчаливо схватываются насмерть, что они не позовут на помощь и ни один не отступит, пока не упадет, когда оставят силы. У меня жарко толкнулось сердце.

Они все кружились, разбрызгивая грязь на дороге.

Не представляю до сих пор, как я сумел одним махом проскочить скользкую доску. Ступая по лужам, кинулся к ним. В ботинках упруго зачавкала жижица. Я схватил Васю Залыгина за плечи и потащил назад. Он вяло отвалился, мотая головой, и тут длинный хрястко ударил. Вася рухнул на меня, и мы вместе повалились. Я угодил боком на что-то острое, в глазах снопом метнулись искры. Залыгин сел на обочине, привалившись к столбу, и засопел. Он уже ничего не понимал.

Длинный уходил от нас разболтанной походкой пьяного.

— Вася, больно тебе?

Залыгин отнял ладони от лица и встрепенулся. Встал на четвереньки, тяжело поднялся и, прихрамывая, побрел вслед за беловолосым.

— Подожди, куда ты!

А Вася уже прилип к тому парню, но ничего сделать не мог, только пытался уберечься от увесистых кулаков, которые все-таки часто попадали в цель. Удивительно, как это он еще держался на ногах! Я опять влез между ними, и длинный размеренно принялся молотить меня куда попало.

— Прекрати! Прекрати, говорю!

Но эта машина не способна была остановиться. Я ослеп от злости.

Я пнул его в живот, он согнулся и раскрыл рот, часто хватая воздух.

Это был дюжий парень, бульдозерист или шофер, — от него несло бензином. Как ни странно, уже на другой день я вряд ли смог узнать его. Таких много на стройке. Разве что волосы, льянго-белые, в кольцах, сошли бы за особую примету.

Он вдруг побежал обратно, к почте. Но далеко не убежал. Напротив конторы мы остановились, я повернул его к себе и ударил. Парня понесло как-то боком и бросило в канаву.

«Там ведь глубоко!»

Я рванул из кармана фонарь. В сякоть под ноги упали платок и спички.

У меня дрожали колени, и улица с пятнами огня выгибалась дугой. И на мою долю прилично досталось! Не выдохнись этот парень, лежать бы нам с Васей где-нибудь в укромном месте и униженно сознавать, что мы не мужчины.

Я посветил в канаву. Беловолосый карабкался вверх, цепляясь за огрызки арматуры, и тонко выл. Живой, и слава богу! Ладно!

Тучи совсем пропали.

По слепым окнам бежало отражение луны, и стекла тлели зеленоватым огнем. Из труб больницы тонко сочился дым.

Мы сидели на пустыре и молчали.

Вася держал между колен потухшую папиросу и сплевывал кровью.

Я чувствовал бесконечную усталость. Саднила царапина на шее, ныл ушибленный бок. И вообще...

Залыгин вроде бы прочитал мои невеселые мысли.

— Убить мало!

— За что?

— За Галю.

— Значит, это он и...

— Да. Он и еще один...

— Вот оно что! И как ты докопался?

— Толя Соломатин, твой приятель, докопался через своих ребят.

— В милицию надо заявить!

— Успеется с милицией. Еще не рассчитались.

— Пока они тебя бьют...

— Ничего, научимся.

Уговаривать этого упрямца было бесполезно. И в то же время... Может, он прав?

Вася стал сейчас мне много ближе. Так близки, пожалуй, мы еще никогда не были.

— Посмотри, что там у меня на затылке.

Я осторожно провел ладонью по его волосам, и ладонь намочила теплой кровью.

— В больницу надо, Вася!

— Нельзя в больницу... Кастет с собой носит, сволочь!

— Тогда ко мне, куда ты в общегитие такой!

— А Маша?

— Жена? Она к теще в город уехала. С ночевой.

— Тогда к тебе лучше...

Он совсем ослаб и еще в подъезде потерял сознание.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

**В**ОТ уже и осень.

«Поздняя осень, грачи улетели». Утрами на траву падала изморозь, застывал ледок на лужах. Небо было темно-голубое и сочное. Таким его рисуют только на открытках. Тихой каруселью стелется лист.

Осень была затяжная и ясная.

Скоро снова зима!

За шесть месяцев ничего существенного не случилось, разве вот только мы постарели на целых полгода, но этот факт не настолько значителен, чтобы войти в историю.

Я все лето с короткими перерывами прожил на Урале — следил за отгрузкой оборудования на наш завод и за выполнением сроков поставок. Потом ушел в отпуск. С Васей Залыгиным довелось видаться только урывками. Мы встречались, как на полустанке от поезда до поезда: минутка бестолкового разговора, стаканчик вина, лихо выпитый на тычке, и «дан приказ ему на Запад, ей — в другую сторону». Вася за лето тоже раза три ездил в Москву — то за библиотекой и физкультурным инвентарем, то за новым пополнением комсомольцев-добровольцев.

Потом, когда я вернулся из отпуска, он собрался к себе на Кубань. И только к октябрю мы снова прочно осели в нашей комнатухе. И закрутилось колесо...

2

**В** ПОСЕЛКЕ есть улица Солнечная. Люди приезжие и временные из числа командированных издеваются над нами: что, дескать, это за улица, если на ней всего один дом стоит, как зуб в пустой десне?

Но мы выше мелких подковырок, мы-то знаем, что в недалеком будущем Солнечная станет главной и упрется в парк, огромный, как море. А потом ведь Солнечная, а не какая-нибудь там Рудоконная, Угольная или, скажем, Верхняя Каменка. Для хорошего настроения названа, разве непонятно!

Васе дали, наконец, однокомнатную квартиру на улице Солнечной. Дом, над которым измываются приезжие, действительно немного подкачал — он не оштукатурен, не крашен и с торца залатан шлакоблоками. Зато с торца же, совсем близко к стене, растет у дома старый тополь. Его ветки царапают окна.

Рассказывают, что какая-то мастерица (она уехала и фамилию ее никто не помнит) — велела оставить дерево, когда бетонщики заливали фундамент, торчала над душой у каменщиков, когда клали стены, — боялась, как бы не испортили крону. Шуму было много: рабочие торопятся, план гонят, а тут на тебе — не трогай, не ломай! Вопрос, однако, не закрыт и до сих пор. Теперь на ЖКО насаждают жильцы: «Спилите эту орясину, ведь света не видим!»

Про тополь на улице Солнечной в городской газете была напечатана невыдуманная история под заголовком «О чем шумят листья». Листья шумели о мужском благородстве и вечной любви к природе.

Это, конечно, очень мило, но если спор в плоскости физиков и лириков, то я лично на стороне здравого смысла: чего ради жильцам страдать от сырости и видеть солнце раз по заказу.

Во время длинных вечерних бдений мы с Васей спорили чисто по-русски: то есть сперва один разглагольствовал до хрипоты, совершенно не принимая во внимание возражений другого, после до абсолютной глупости выговаривался другой, и начинали сначала.

— Ты видишь только плохое, потому и скептик, потому и черств!

— А тебе все видится в розовом свете, и потому скоро разочаруешься, в



итоге к тому же придешь. И обоих нас не минует чаша сия... — Я издевался над его прожектёрством и какой-то совсем детской доверчивостью.

Стройка, словно река после вешних вод, оставляла на берегах людской мусор: тут тебе и летуны, и любители длинных рублей, и пропойцы, и просто жулики с классическим набором пороков. Эта лихая публика при нужде может разжалобить даже камень, выдав сходу трогательную историю о превратностях судьбы. Они, непонятно как прознав про слабость Залыгина, повадились к нему за помощью. Вася — отзывчивая душа — давал взаймы без разбору и скоро сам по уши залез в долги. Занятое обычно не возвращали, наверно, из-за легкомысленного заблуждения, что у заместителя председателя стройкома денег черт на печку не забросит, и Залыгин неделями ел ржаные пряники с чаем. Я ежедневно вручал ему рубль на столовую и читал мораль о вреде слюнтяйства.

— Позавчера давал пятерку старику, который искал сына на стройке?

— Ну? — Вася отрывался от бумаг и готов был слушать подробности.

— Утром я в магазин за папиросами забегал и видел его. Пьяней вина валяется под прилавком. Завтра обязательно попросит на похмелье. Ты подари ему, пожалуйста, свои единственные вельветовые штаны, они тебе карьеру потянут.

— И не стыдно! У человека горе, а ты измываешься!

— Заплачь, дам калач.

— Отстань!

А вообще я заметил, что Вася хоть и работает с прежней энергией, но уже без того азарта. Он поскущел, замкнулся и, кажется, немножко разочаровался в своей Кубани, когда посмотрел на нее через год и со стороны. Кубанские краски потускнели в его глазах. Он вздыхал: павлин по отцовскому двору уже не ходит, его задавила собака, и станичные рынки утратили былой колорит, вот беда! Большого я от него не мог добиться. Еще меньше он говорил о Гале Ключко, с которой, конечно, не раз встречался в Москве. Ей стало немного лучше, она может уже сидеть у телевизора. Ждет все, когда покажут стройку, но стройку почему-то не показывают. Скучает она...

За шесть месяцев я получил от нее всего два конверта с засушенными цветками и ни слова, и ни строчки! Я писал, но без ответа. Больше решил не навязываться, но думал о ней чаще, чем хотелось бы.

Залыгин не любил вспоминать про драку весной, он щупал шрам на макушке и морщился, но не от того, что осуждал себя, скорее всего обижался

на меня за непрошенное вмешательство. По моей тихой просьбе мазисты Толи Соломатина провели с бандитами, как они выразились, профилактическую работу: беловолосого побили возле общежития цинковым корытом, в котором держат воду для мытья обуви. Дело кончилось скорой помощью. Второго сравнительно мирно отвезли на вокзал в город и отправили с богом на все четыре стороны. Без всякой милиции.

Вот и все новости на первый случай.

3

У ТРОМ двадцатого ноября я отвез жену в городской роддом и ходил как во сне.

У меня спрашивали, будто это было самое важное:

— Кого ждешь?

— В смысле?

— Ну, мальчика или девочку?

— Все равно.

— Э, так не бывает. Мальчишку, поди, надо? И девка, если разобраться, тоже человек, но пацан лучше: наследник, продолжатель рода и так далее...

Степанида Ивановна была категорична:

— Девчонка будет, не знаю, что ли!

Я долго попытывался, откуда у нее такая уверенность, но вразумительного объяснения так и не дождался. Машинистка только намекнула, что есть приметы, в которые мужчин посвящать не стоит.

— Врачи и то определить не могут!

— Много они понимают, ваши врачи!

Что ж, если появится девчонка, назову Ириной. Ирина, Иришка. Хорошо! Только, пожалуй, теща будет возражать, она женщина современная и с принципами. Я тут же великодушно решил уступить теще: пусть хоть Тракториной называет, лишь бы все благополучно кончилось. А если парень? Тут уж я сам разберусь, без посторонних!

Я переживал, но не чувствовал просветленной радости наступающего отцовства и панически боялся несчастья: а вдруг родится урод, как, например, сын тещиной подруги Арик. Ему четырнадцать лет, у него голова точно наспех сколоченный скворечник, тонкие ноги и грозно оттопыренные уши. Он угрюм, хапает варенье пятерней и жует воротник рубахи.

Я спросил у Степаниды Ивановны, чем питаются женщины перед родами, купил кое-что, и мы с Васей поехали в город.

Пока я торчал в очереди у окошка передач, Залыгин успел схватиться со старшей сестрой. Он возмущался, почему никто не знает, когда Маше рожать, и вполне серьезно предложил, чтобы в вестибюле вешали бумагу, вроде графика, и указывали там время родов с точностью плюс-минус час. Он многого не хотел — плюс-минус час. Очередь единогласно его осмеяла, и нам пришлось срочно ретироваться.

К вечеру я совсем раскис, и мы пошли в Дом культуры. Там работал Васин приятель, завхоз Петя Семенов, у которого всегда было пиво для избранных. Петю Семенова на наше несчастье в тот вечер раздирали противоречия: он не мог выбрать, какой из своих страстей отдать предпочтение: то ли спорту (бег на длинные дистанции), то ли эстраде (у него признавали лирический тенор). Завхоз был слегка под хмельком, и его бирюзовые глаза отдавали есенинской меланхолией.

Именно в тот вечер, ни раньше, ни позже, он решил: быть или не быть.

Пиво пили в кладовой, где пахло новыми футбольными покрывками и от маек, сваленных в углу, несло потом. Кладовая была заставлена шкафами и увешана струнным инструментом.

Петя снял рубаху, чтобы продемонстрировать нам на вдохе и выдохе свою грудную клетку, огромную, как сейф кассы взаимопомощи, потом велел обоим положить ладони ему на сердце, чтобы наглядно убедиться, как резонирует во время пения его грудь. Он затыкнул неаполитанский романс «Нет большего счастья вдвоем на лагуне...»

В ушах у меня заверещало, с мандалин на стенах посыпалась пыль, и уборщица в коридоре уронила ведро.

— Как?!

Мы дружно заверили его, что с такими данными не стыдно и в Италии показаться, но и спорт бросать не имеет смысла, ибо и великие люди не брезгли спортом. Академик Павлов, например, здорово играл в городки. Я нагло соврал, что сам Карузо увлекался футболом и был правым полусредним.

Вася без роздыха вытянул бутылку пива через горлышко и сказал:

— Оформляйся назад монтажником.

— Зачем?

— Выходите из вагонов только в сторону платформы.

Завхоз дурашливо захлопал длинными, как у кинозвезды, ресницами.

Залыгин в последнее время усвоил дурную манеру цитировать ни к селу ни к городу надписи с этикеток Томской спичечной фабрики. Шутка тупая и меня, например, мгновенно доводила до белого каления.

— Объясни толком, — неуверенно попросил завхоз и потянулся за рубашкой.

— Не висни на подножках — опасно для жизни! — добавил я.

Это было уже слишком: тенор стал наливать нехорошим румянцем.

Вася подобрал ноги, сел на стуле прямо и сделал серьезное лицо.

— Здесь тебе явно не место: киснешь, пить, вижу, начал. Рабочая среда — она дурь вышибет. А при желании успеешь и пить, и бегать. Земля круглая...

Петя взял подбородок в кулак и могуче задумался.

Пиво было старое и кислое.

Я боязливо поглядывал на телефон: позвонить или нет? Рискну в последний раз! Дежурная в роддоме уже знала наши голоса и бросала трубку, не вдаваясь в подробности.

В трубке трескало и кто-то надсадно кричал: «Предлагают цистерну конопляного масла, так брать? Вы меня слышите, брат конопляное масло?»

Чтоб тебе с твоим маслом!

У дежурной был ломкий голос. Наверно, соснуть успела. Рано они там ложатся спать!

— Простите, можно справочку? Утром к вам поступила Галенко Мария, так я бы хотел знать...

На том конце провода меня уже не слушали. Зашуршала бумага, и через томительную минуту сестра привычно отчеканила:

— У Галенко девочка. Рост сорок семь сантиметров, вес три килограмма семьсот граммов.

— Чей вес, простите?

— Девочка здоровенькая, мать чувствует себя удовлетворительно.

Мне как-то сразу не пришло в голову, что новорожденные имеют вес и рост. Я машинально отметил на столе полметра и удивился: большая! И когда я увидел изумленную Васину физиономию, то вдруг обнаружил, что не могу говорить.

— Уже!?

Я кивнул.

— Девочка? — Вася вскочил, мы обнялись и неловко поцеловались.

Петя-завхоз оторвался от дум и протянул мне руку:

— Поздравляю, бракодел, — он досадовал, видно, что нам теперь не до его переживаний.

— Сам ты бракодел! — рассердился Вася. — Ты вникай: новый человек на белом свете прописался! Интересно... И ты ведь когда-нибудь станешь отцом... — Он повернулся ко мне: — Ты что сейчас чувствуешь?

Я ничего такого, признаться, пока не чувствовал и, чтобы не объясняться, бросил лозунг:

— Обмыты!

А времени было в обрез: через пятнадцать минут закрывались магазины.

Вася напоследок процитировал спичечную фабрику:

— Оберегай полезных зверей!

Я подхватил:

— Водитель, пропускай транспорт по главной улице!

Завхоз мелко затряс головой, будто только что выскочил из воды.

— Больше пива не получите!

Я никогда не видел такой ночи.

Представьте себе совершенно белый снег, который жалко трогать, и черное небо. На деревьях висела лохматая бахрома. Луна сочилась бледно-зеленым светом, и все гляделось как через бутылочное стекло. Земля была дном зеленого моря. И море дремало. А мы не бежали — неслышно летели. Снег мягко оседал под ногами и тут же наливался темной водой.

Вася оглядывался и торопил. Мне торопиться не хотелось, к тому же я был наивно уверен, что сегодня мы никуда не опоздаем, просто не имеем права.

И мы опоздали всего на какую-то минуту: сторож захлопнул дверь гастронома под самым носом у нас и за стеклом, на той стороне, непреклонно выпятил кержачью бороду. Я взялся за ручку и на некоторое время забыл обо всем, рассматривая сторожа. Художнику, работающему над полотнами времен Иоанна Тишайшего, такая натура в самый раз. Я потянул дверь на себя, вставил ботинок в проем и спросил у деда, сколько лет сознательной жизни он убил на выращивание такой шикарной бороды. А дед вместо того, чтобы принять шутку, стал, нутужась, одной рукой стаскивать с плеча берданку. Такой симпатичный папаша и такой серьезный! При этой бороде положено иметь чувство юмора и патриаршью снисходительность.

— Вы только послушайте! — зачистил Вася из-за моей спины. — У чело- века дочь родилась, сейчас по телефону узнали! Пустите бутылочку купить, sprysнуть положено такое дело! Имей понятие, отец, ты же русский человек!

— Стрельну! — захрипел тот. — Может, выпили, так ходите стороной!

Мне сделалось тоскливо, и я вдруг понял, отчего люди не отзывчивы и скучны: в нашей жизни нет места приятным неожиданностям, мы — как рота на марше: путь известен, цель ясна, привалы расписаны, а старшина ведаёт махоркой и свежими портянками. У старшины же в руках счастье — по сто граммов с устатку.

Я махнул рукой и поплелся прочь

## ГЛАВА ПЯТАЯ

**Я** ЕЩЕ раз с недоверием поднес телефонную трубку к уху и еще раз услышал сквозь шорох помех далекий голос:

— Алло! Так вы поняли? Немедленно явитесь за получением, груз срочный. Поняли, алло!

— Хорошо, буду.

Вася Залыгин жарко сопел мне в затылок — он явно ждал этого звонка. Я сразу догадался, что без него здесь не обошлось.

— Твоя работа?

Вася сразу сделал невинное выражение и пожал плечами: ты, мол, сперва объясни.

— Из аэропорта звонят — требуют, чтобы я забрал какой-то срочный груз.

Вася часто заморгал. Он не умел врать и всегда вот так моргал, когда пытался обмануть или притвориться.

— Какой еще груз? И причем я!

— Ты же подстроил!

— Лес — наше богатство, береги лес от пожара!

Ну, поскольку Залыгин начал цитировать Томскую спичечную фабрику, толку от него не добьешься.

— Завтра поеду, это же у черта на куличках. Сегодня некогда. — Я полез в шкаф за чертежами. Мне на самом деле было некогда шутки шутить.

Вася всполошился и что-то шепнул Степаниде Ивановне. Та, кажется, тоже состояла в заговоре и потому принялась меня уговаривать: раз груз срочный, значит, срочный, раз велют забрать, значит, не напрасно и все в таком духе. Залыгин ей поддакивал и даже обещал у кого-нибудь из начальства выпросить легкову. Я позволил им уломать себя: если машина будет, почему бы и не прокатиться. Не похоже, чтобы они меня разыгрывали, и срочный груз интриговал. Залыгин тут же исчез, но возвратился поникший: начальство в разъездах и транспорта нет. Постройкомовский автобус послали в город за лектором.

Ну и ладно...

Степанида Ивановна посоветовала:

— Толю Соломатина попросите, я его давеча на улице встретила, он сегодня в ночь. Сейчас дома.

За Толей побежала рассыльная, и тот сейчас же явился. Он был в шляпе и новом демисезонном пальто. Пальто топорщилось колоколом на его сутулых плечах, и на груди болтались концы белого шарфа. Толя привалился к косяку и принялся рассматривать меня, покачивая головой.

— Сватать явился — глядишь так? — спросил я.

— Какая из тебя невеста! — засмеялся он.



Толя нисколько не удивился, что мы его вызвали, и сразу согласился, будто каждый день возил из аэропорта срочные грузы, прибывающие на мое имя. Вася, наверно, успел перекинуться с ним в коридоре. Толя сказал, что ради такого случая сам повезет нас.

Мы остановились на обочине у перекрестка.

Мимо проносились машины, груженные гравием, и левая сторона дороги была темной от воды, потому что из кузовов текло. На асфальт сыпались камешки и пахло рекой — окуневыми омутами, илом и тальником. Или просто так казалось — ведь экскаваторы черпали гальку на излучине возле черного озера, где мы не раз зоревали.

Толя привалился к столбу и закурил.

Я понял, что придется ждать. Вася пробовал развернуть газету, но ветер не лавал. Нашел тоже где читать!

Машины пробегали одна за другой беспрерывно, и в горле запершило от бензиновой гари.

День был ясный, с незлым морозцем, которые стоят обычно немного перед большими холодами, а те уж не отпускают неделями, и тогда зима становится невыносимо длинной.

На мокрой стороне дороги солнце отражалось тускло, зато на сухой, подернутой льдом, оно брызгало снопами искр, играло и переливалось. И от этого света было больно глазам.

Простояли мы так минут пятнадцать. Наконец Толя поднял шляпу и отпрянул от столба. Возле, пыхнув тормозами, остановился грузовик. От его колес, как от взрыва, метнулась пыль. От грузовика шел жар и над радиатором, качаясь, рябил воздух. Из кабины медведем вывалился приземистый парень, и не здороваясь, постучал валенком по лысой передней покрывке. Толя протянул ему папиросу. Тот закурил и опять сердито стукнул покрывку.

— Возьми всю пачку, долго курить придется.

— Свои есть.

— Кой-куда сгонять надо.

— Надолго? — парень вскинул засаленную кепчонку и высыпал на лоб вороненый чуб. — А то я дома посплю.

— Валай, после заеду.

Толя легко прыгнул в кабину и поманил нас за собой. Я отобрал у Васи газету и постелил ее на сиденье.

— Поехали!

МАЗ заурчал, качнулся и рванул. Поплыли, затормозились дома, улицы, люди; и дорога, облитая серебром, услужливо выстелилась перед нами.

Толя-засвистел. Его костлявые руки плотно легли на баранку. Он вел ма-

шину играючи, с удовольствием: это ведь была его работа, ремесло и хлеб.

На переднем стекле кабины поблескивали трещинки, похожие на паутину в бабье лето.

Говорить нормально было невозможно, и мы кричали, а то просто кивали друг другу и беспричинно улыбались. Успевали ловить на лицах шоферов встречных машин испуг и недоумение; их, наверно, удивлял Соломатин своим шикарным пальто и шляпой.

Перед радиатором кисеи висела поземка. Мы свернули в проселок. Толя снял шляпу, поискал глазами, куда ее спрятать и сунул мне на колени. Он перестал свистеть и налег грудью на баранку. Нас швыряло в кабине. Вася расселся с краю очень уж свободно и бессовестно теснил меня к Соломатину — он ничего не видел и не слышал и, закинув голову, кричал стихи.

Я ломал голову. «Что там за срочный груз? Эти черти, один и другой, знают, да разве от них добьешься толку! Придется уж потерпеть».

Вася читал стихи, точно молился.

Я крикнул ему в ухо:

— Погромче!

Он удивленно поднял брови:

— С каких пор стихи полюбил!

— Давай!

...Мы привыкаем к лунной тишине,  
Нависшей над заснеженной

равниной.

Живем — не удивляемся весне,

Живем — и наши души не ранимы...

Да, мы не замечаем красоту...

Мы что-то ищем.

Что — не знаем сами.

...Соломатин решил спрямить. Он, не сбавляя скорости, взял накатанный бугор, и мы въехали в деревню. Пробирались теперь проселочной дорогой, на которой санные полозья выдавили четкий след. Дорога была засорена соломой, искрошена сбоку гусеницами тракторов. Псы с визгом исцезали в подворотнях и пугливо выглядывали оттуда, не осмеливаясь даже брехнуть вслед.

Толя снова засвистел. Значит, все в порядке. А мне казалось, что мы вот-вот сковырнемся в кювет и прочно застрянем: для грузовика здесь было слишком мало места.

Мешала шляпа: я держал ее между колен, боясь смять, и от напряжения ныла спина.

Вася наклонился ко мне и спросил:

— Как стихи?

— Дальше знаешь?

...И смотрим, смотрим, смотрим

за черту

Той красоты,

Что вечно рядом с нами,  
И мечемся, как щепки по волнам.  
И раньше срока  
Уплывают в вечность  
Любимые,  
Доверившие нам  
И красоту,  
И молодость,  
И верность...

- Кто написал?
- Фирсов есть такой...
- Ничего. Может твой Фирсов.

— ...Живем — не удивляемся весне.  
Живем — и наши души не ранимы...

Жестоко сказано, но верно: живем — не удивляемся. И души не ранимы. Нам некогда удивляться: жизнь все сложнее и растрачивается на тысячи необходимых мелочей, а сохранить непосредственность в грохоте и вечной спешке непросто. Для этого тоже, если хотите, талант нужен, а он не всякому выпадает. Нам некогда... А в общем, обидно: живем — не удивляемся весне...

...В поле было пусто. В низинах кое-где топорщились кусты; рядки наспех сметанных стожков напоминали многоточия на пустых страницах. Над дорогой медленно кружились вороны, и с лету, тяжело падали на телеграфные столбы, и снова взлетали, вспугнутые шумом мотора.

Я от нечего делать следил за Толей.

Как все-таки меняет человека обстановка! Дома он был всегда взвинчен и держался так, точно его всякий раз заставляли надевать пижаму и войлочные тапочки, усаживали на диван, давали в руки газету и велели прилежно читать в наказание за провинность. Он часто приходил к Васе и там держался не лучше: бегал по комнате, роняя стулья, не снимая пальто, садился играть в шахматы, неизбежно проигрывал, обиженно сопел и уходил, не попрощавшись. А здесь вот, за баранкой, совсем другой Толя Соломатин — уравновешенный и суровый.

— Сейчас аэропорт, — сказал Толя и попросил сигарету.

...В этом уголке Сибири всюду беспорядок новоселья: и вздыбленная экскаваторами земля, и временяки, потому что люди сперва оседают наспех, чтобы потом отстроиться капитально, с размахом.

Аэропорт — несколько сборных барачков у березняка на взгорье — тоже был временный. От барачков узкой лентой тянулась взлетная площадка для самолетов легкого типа. Голо, просто и несolidно.

Толя остановился в сторонке.

Вася тут же успел расспросить встречную девчонку из obsługi, и та сказала, что насчет специального груза нужно обратиться, наверно, к самому начальнику отряда Ивану Ивановичу. Сейчас как раз обед, и он в столовой — первый барак снизу.

Я поотстал шагов на десять — мне было неудобно вылазить вперед. Меня тянуло в тенечек, подальше от придирчивых глаз, как в песне поется. Я остался у крылечка. Вася и Соломатин вошли, не заметив моего мелкого предательства. Они выпустили на улицу клуб пара и несложные запахи казенной кухни.

Недалеко, точно подранок, накренившись на одно крыло, ползал самолет. Наверно, отруливал на стоянку. От самолета, пригибая березки, неслась метель. Вспененный снег у подлеска был опутан заячьими следами. Зверь, выходит, привык к шуму. Интересно...

Вася выскочил на крылечко и закричал:

— Ты куда провалился? Там ждут, понимаешь!

— Кто ждет?

— Потрудись зайти — узнаешь.

Узкий, во всю длину барака, зал был плотно заставлен легкими столиками на алюминиевых ножках и гнутыми стульями. Стены зала были обиты дранкой и кое-где обмазаны раствором. Здесь курили, и над столами кругло перекатывался дым. На подоконнике, как раз напротив, сидел человек в лохматых унтах (я почему-то сразу догадался, что это и есть начальник отряда Иван Иванович) и не двигался. И не спускал с меня глаз.

Пилотская братия, парней, наверно, пятьдесят, застыла словно по команде.

Что-то здесь не так: слишком уж напряженно держались эти ребята. У меня загорели уши. В чем дело?

Вася прикрыл рот ладонкой, но смеялся глазами; Толя Соломатин устал в потолок, будто там была записана его судьба. Он так высоко задрав голову, что уронил свою драгоценную шляпу прямо на затоптанный пол, и не огорчился, а явно обрадовался такому случаю: теперь можно было со спокойной совестью заняться шляпой и не обращать внимания на мои молящие взгляды. И ты, Брут!

Неизвестность хуже бед, и наступление выгодной обороны.

Рядом кто-то, затомившись, бросил ложку. Она зазвенела, как сигнал, и я грубовато от неловкости спросил Ивана Ивановича:

— Где груз? Нам, извините, некогда...

Начальник поднялся и загородил плечами окошко.

Он был молод, лет, пожалуй, тридцати, и кокетливые усики метелочкой как-то не подходили к его большому крестьянскому лицу. Я пожалел в эту минуту, что летчиков так рано списывают на пенсию. На самом деле, будь здесь начальником пожилой гражданин, он не поощрял бы таких шуток.

Иван Иванович кашлянул в кулак и лукаво поднял брови,

— Туш, хлопцы!

Хлопцы загладели и вразнобой грянули: та-та-та-та-та-та... Применили и подручные средства: бутылки из-под минеральной воды, ложки, вилки и посуду. Этот ужасный шум, наверно, слышали на летном поле.

Я глупо переминался с ноги на ногу, и моему положению завидовать было трудно.

Из кухни гуськом вылезли повара во главе с дядей, размеры которого поражали, и тоже захопали в такт. Потом, снова после знака Ивана Ивановича, пилоты жали мне руку и поздравляли с двойней. Я все хотел вставить, что насчет двойни у них явно преувеличенные сведения, но где там — они не хотели и слушать, они упивались торжественностью момента. Я понял, что лучше смириться: двойня так двойня.

Шум понемногу затих, и тогда толстый повар сказал, что по такому случаю с товарища полагается.

Иван Иванович, наконец, пожалел меня:

— Довольно, и так смутили человека!

«Вот именно!»

Кухонная публика снова гуськом убралась восвояси, а начальник, ни слова не говоря, вышел; мы потоптались, как бараны, в дверях и ринулись следом.

На отлете, в самом безразнице, стоял бревенчатый домик, и Иван Иванович по тропинке направился туда. Он не оглядывался, не приглашал, но мы упрямо плелись за ним.

Я сердчал на Васю:

— Раньше сказать не мог, да! Язык у тебя отсох, да!

— Собирайте металлолом — хлеб черной промышленности!

— Зачем про двойню выдумал?

— Уходя, гасите свет!

— Конечно, не тебе краснеть... Скажи, откуда они знают про рождение?

— Не обгоняй транспорт на переездах!

— Дубина ты, однако!

...Иван Иванович старательно обмел свои унты голичком и, согнувшись, вошел в дом. Мы тоже обмели ноги и, немного заробев, ступили в темный коридорчик, застекленный линолеумом. Подтаившие валенки сильно скользили.

Дальняя комната справа была открыта, и начальник позвал нас оттуда.

Комната была сплошь перегороджена деревянными полками и только посредине осталось место для небольшого стола. За ним, одинаково подперев кулаками подбородки, сидели две дивчины — солидная блондинка и худая брюнетка с обжигающими цыганскими глазами.

— Привел, девочки, — сказал Иван Иванович. — Вот получатель. — И показал на меня.

Блондинка сейчас же исчезла в глубине комнаты. Другая не пошевелилась, только сердито поджала губы: я ей не понравился.

Блондинка вернулась и тихо поставила на стол трехлитровую стеклянную банку. К банке был привязан шпагатом огромный целлофановый колпак, а под ним вроде горел неясно и медленно букет дорогих цветов. Это было первое впечатление, но оно осталось надолго. Откуда-то из-за полок, набитых чемоданами, пробился солнечный луч. В нем зароилась пыль, и колпак заискрился, словно кусок чистого льда, а цветы погасли, растворились в радужных изломах солнца.

К банке был прикреплен проволокой кусочек белого картона — записка. Блондинка оторвала ее и протянула мне. Я сперва не мог читать — строчки прыгали и кривились. Я чувствовал, что все пятеро придерживают дыхание, ждут от меня чего-то и, наконец, справился с собой.

Вот она, записка:

«Всем, кто летит в Энск.

Дорогие люди! У моего товарища Семена Галенко вчера родилась двойня, и я хочу, чтобы он передал эти цветы своей жене. Цветы не завянут, только, пожалуйста, не дайте им померзнуть, очень Вас прошу!

Заранее сердечное Вам спасибо!»

В постскрипту писалось, как лучше найти меня или Васю Залыгина на стройке. Ни подписи, ни даты.

— Но почему двойня?

Я понимал, что надо было сказать что-то совсем другое, особенное. Они ждали от меня каких-то значительных слов, а я не мог их найти. И глупо повторил:

— Почему двойня?

— Плохая слышимость была, — сказал Вася и отвернулся.

«Значит, Вася ей звонил. Понятно».

— Кто это вам такую красоту прислал? — спросила черноглазая и вздохнула, как могут вздыхать только женщины — длинно и скучно. Она по-прежнему была убеждена, что я не заслуживал такого подарка.

— Галя Ключко. — Я вдруг охрип. — Она теперь в Москве живет...



— Кто такая?

«Кто она такая?»

Это долго рассказывать. И не всякому рассказывать.

Она, например, хорошо смеется. Не все умеют хорошо смеяться. И глаза у нее... Таких глаз я не встречал. И есть в ней какая-то особенная ясность. Мне всегда казалось, что она оставляет после себя крепкий запах яблок. Странно, правда? Но мне так казалось... Я вспоминаю ее часто, но о том никто никогда не будет знать. Я хочу получать письма из Москвы, а их нет и нет... Может, мы не встретимся больше? Мы ведь при жизни не умираем друг для друга — просто уходим и обратно не возвращаемся.

...Луч на целлофановом колпаке поиграл еще и упал, точно обрезанная лента, а цветы снова зажглись — темно-алые, желтые, белые.

Начальник тронул меня за рукав.

— Банку эту старушка одна всю дорогу опекала. Строгая такая, в пенсне. Погода была того... — он pokrutil над головой растопыренной ладонью. — Не совсем летняя погода была, товарищи. Но из Новосибирска нас выпустили ради такого случая...

Начальник еще надеялся, еще ждал особенных слов, но где их найдешь, если в горле больно, а в голове до звона пусто? Я протянул ему руку.

— Спасибо вам! Всем спасибо!

Пальцы мои хрустнули в его свиновом кулаке. Он глянул на меня коротко и цепко, словно хотел разгадать сразу и до конца, кто я, собственно, есть и стоило ли из-за меня принимать столько хлопот. Потом чуть посторонился, вытер лоб платком и сказал почему-то:

— Ничего, Семен Галенко, ничего...

Девчонки повздыхали и уселись снова, подперев щеки.

Попрощались. Я взял банку, шагнул за порожек и смаху прокатился по коридору метра три, задел плечом питьевой бачок в углу и уронил кружку. Она покатила и загремела. Толя подхватил меня сзади, выпрямил, ругнулся, вырвал цветы и, прикрыв их полой пальто, нес до самой машины.

Летчики толпились у столовой и махали нам шапками; девчонки из багажной комнаты, кутаясь в платки, ревниво провожали до конца.

Я тоже снял шапку.

— Спасибо вам! Всем спасибо!

...В роддоме был неприменный день. Я знал об этом, но как-то забыл.

Когда грузовик, громыхнув цепями, остановился, на первом этаже дрогнули занавески, выглянули санитарки и

снова все замерло: в этом тупичке выскли к тишине.

Что делать? Мы растерялись.

— Мокрые вы курицы! — всердцах заявил Соломатин и сразу налился энергией. Он сгреб букет и решительно, заранее торжествуя победу, почти побежал к роддому — боялся, что цветы померзнут на ветру. Сперва подолбился в парадное, приложив ладонь козырьком, позаглядывал в окна и пропал за углом. Его не было долго, минут, наверно, десять, и мы уже потеряли надежду, как вдруг парадное раскрылось настежь, на улицу выскочила пожилая простоволосая нянечка, суматошно всплеснула руками и откатилась назад. Вася подмигнул: «Взяло за живое!». Нянечка, видимо, должна была пригласить нас, но тут же запаматовала, зачем выбегала во двор. Из распахнутых дверей важно выступил Толя и, вроде не замечая нашего нетерпения, сел на перило лесенки, картинно уперся спиной о бетонную вазу, из которой торчали врозь почерневшие стебельки, закурил и уж потом милостиво кивнул: чего, мол, уставились, ступайте поближе.

...По вестибюлю на коротких ножках каталась давешняя нянечка и размахивала руками, точно собиралась взлететь.

— Прелесть-то, красота-то, господи! — она заморгала и кивнула на Васю. — Это муж, понимаю! Ошиваются тут пьяные да бесстыжие. Рожать бы заставить, язви их!

Нянечка по-родственному поцеловала Васю в лоб.

— Радость-то какую доставили, господи!

Толя ехидно посмеивался: его забавляла ситуация.

— Цветочки уже понесли ей, понесли, детки!

— Скажите, чтобы на всех букет разделила, — приказал Вася.

— Догадается поди, как же можно одной-то пользоваться!

...Жена прилепилась носом к стеклу и что-то говорила, говорила... Мы ничего не слышали, только кивали ей. За спиной жены теснились роженицы со второго этажа и тоже говорили, показывали на нас, тепло и немножко грустно улыбаясь.

Мы долго стояли так.

Солнце уже падало, и снег синел.

Поредел лица в окнах. Жена уже молчала и ковыряла пальцем замазку. А мы стояли. Потом, не сговариваясь, тихо пошли. Нам хотелось, чтобы этот день был самым длинным. Мы знали, что такое бывает нечасто.

**С**ТЕПАНИДА Ивановна взяла с подоконника ключ и подала мне. Ключ был обжигающе холодный и не грелся в ладони. Степанида Ивановна сказала, что за этот месяц, пока я скитался по командировкам, многое изменилось и теперь в комнате она одна, а Вася уехал и просил передать ключ от своей квартиры. Остальное не ее дело.

Я не хотел ни о чем ее спрашивать — боялся и не верил, что его уже никогда не будет рядом.

— И записки не оставил?

Машинистка равнодушно пожала плечами: ничего не оставил... «Какая беда стряслась?»

Васино го стола не было. На том месте валялись карандаш и пустой листок бумаги. Я пнул бумагу, и она косо порхнула в угол.

— Когда уехал?

— Да уж с неделю поди...

— Ладно. Спасибо.

Я осторожно, точно за порожком ждал меня кто-то, вошел в пустую Васину квартиру и послушал. Скрипела форточка. Под вешалкой на одной кнопке висела газета, она поднималась и опала, шуршала о стену. В коридоре валялись стоптанные сапоги и брезентовые рукавицы.

В комнате было зябко. Из открытой форточки намело круглую горку снега. Запустение, беспорядок.

Он, видно, сильно торопился, если оставил занавески на окнах, постель, книги.

Я встал на стул, закрыл форточку и огляделся. На тумбочке лежала синяя тетрадь, придавленная пепельницей. Он специально положил ее на виду, чтобы я заметил. Так и есть — это мне письмо. Почерк его давался туго, и читал я, наверно, долго.

«Сема-Семен!

Ты не сердись на меня и не осуждай. Пишу. На дворе ночь, и мне одиноко.

Завтра этого уже не будет — стройки, хлопот, тысячи мелких дел, которые никогда не переделает... Завтра я уезжаю. Вот ведь как, Сема.

Были тут неприятности по работе. Меня все учат, а проку нет и нет. И получается не совсем понятная вещь: что им (старшим и мудрым) кажется сложным, я считаю простым; что мне кажется сложным, для них вполне разрешимо. Говорят, сую нос куда не следует. Но как угадать, куда именно сле-

дует и куда нет? Где эта мерка? Меня не выгнали, уговаривали остаться, ушел я с трудом. Ты не подумай плохого. А неприятности... У кого их не бывает.

Я уезжаю. Здесь остается добрый кусок души: сросся я с вами, успел привыкнуть к мысли, что по-другому и не живется. Ты, пожалуйста, не улыбайся со снисходительностью бывалого, как ты умеешь: спор наш не закончен, и я тебе, по-моему, ничего не доказал. Я по-прежнему стою на своем: надо удивляться! Помнишь стих, который я читал тебе в машине: «Живем — не удивляемся весне. Живем — и наши души не ранимы...». Ты где-то в самой сердцевине добрый человек, но боишься проявить себя без оглядки, и чтобы тебя не сочли наивным. Ты не один такой, черствый по обстоятельствам, что ли... Видишь, опять не могу точно выразить мысль. У тебя это лучше получается. Ну, короче, свет в нас самих, тьма — тоже. Не дай свету погаснуть!

Что-то уклоняюсь от главного.

Итак, почему я уезжаю?

Сема!

Галине Ключко плохо. Очень плохо! Она все не может ходить, ее возят в коляске. Врачи обещают улучшение только после серьезной операции. Спрашивает у меня совета, а ей написал, чтобы соглашалась: риск велик, зато есть и надежда. Поэтому я не могу ждать и должен поспеть в Москву. Я виноват перед ней, Сема! Видишь ли, мы давно знакомы и хотели еще год назад пожениться, да разошлись. Об этом долго распристраиваться, да и вряд ли это тебе будет интересно. Только, конечно, уж не мелочь встала между нами. И я был прав тогда, давно. Свадьба расстроилась, и я забрался сюда, чтобы порвать все окончательно. Она разыскала меня, примчалась следом с покаянием, а я уперся, как осел. Но ведь я люблю ее, Сема! Любил, люблю и... куражился. Почему мы такие, а? Остальное ты знаешь.

На коммутаторе уже гаснут окна. Мне не спится. Я хорошо представляю, как ты явишься, оживленный такой, в нашу комнату и Степанида Ивановна с постоянной улыбкой подаст тебе ключ... Да...

Мы еще встретимся, но такого уже не будет, правда?

Квартиру сдай ЖКО (ордер в тумбочке). Кое-что по мелочи задолжал. Ты рассчитайся, пожалуйста. Вышлю, когда разбогатею. Книжки заberi себе — на память.

Кстати, Галя жалуется, что ты не отвечаешь на письма. Она так жадно о тебе расспрашивает, а ты молчишь! Сам понимаешь, как дорого сейчас всякое участие. Ответь, хорошо?

Первая смена пошла на работу.

Всю ночь промаялся, а так и не сумел сказать тебе чего-то главного. В голову лезут разные глупости. В общем, живи и, как учит нас Томская спичечная фабрика, «не разжигай пещей бензином и керосином во избежание пожара!».

На коммутаторе засветились окна, мне отсюда хорошо видно.

Не поминай лихом. Твой Залыгин Вася».

Я сунул тетрадь в карман.

Напротив окна лежал раскрытый том Хемингуэя; между разбухших страниц набился снег. Я вытер книгу рукавом пальто и положил на тумбочку.

На полу расплзлась белая лужица.

Я снял шапку и сел.

...«Прощай, Вася Залыгин, коли так, коли иначе у нас не получилось. Мне грустно, Вася Залыгин: мы ведь никогда не научимся легко терять друг друга. Но я потерял и приобрел. Я стал богаче. Стал богаче вот этой грустью, прошлым, в котором столько хорошего. Вашим теплом грелись многие. Только не сдавайтесь, только не уставайте! Вот вам мое напутствие в дальнюю дорогу. Это и все. Наш счет закрыт, а жизнь бежит, и я распахиваю грудь ей навстречу. Я ухожу...»

На улице вяло раскручивалась метелица. То ли это конец затяжной непогоды, то ли начало? На перевале зимы у нас всегда ветрено. И нехолодно вроде, а неприятно: такое ощущение, будто по телу медленно перебирают чьи-то холодные пальцы. После метелей обязательно падет затишье — ясная благодать с голубым небом. Улицы, дороги, поля вроде подновляются к празднику. Сугробы оструганы, на тротуарах проступает обледенелая чернота. Она блестит, как асфальт после грибного дождика.

Я немного постоял у подъезда, ослепленный солнцем.

Возле сгружали с машины уголь, и черная пыль хвостом вытянулась вдоль дома.

За углом дорогу загородила дворничиха — румяная женщина в тулупе, перепопсанном офицерским ремнем, — и устала мне в грудь черенок лопаты.

— Поддай назад, нет хода!

Я было рассердился, но, очнувшись, тут же забыл про дворничиху. Рядом кучкой стояли домохозяйки, галдели ребятишки. Все смотрели вверх, я тоже задрал голову и сразу обратил внимание на тополь: его макушка как-то странно подрагивала; от дерева поднималась снежная мушкетерка и в ней едва заметно горела радуга.

Дворничиха все упирала в грудь мне свою лопату.

— Сейчас валить будут, — сказала она значительно и округлила глаза, — тришибет, стой!

Валить будут? Да, на самом деле: к тополю были привязаны веревки, и двое рабочих, расставив ноги, тянули веревки на себя. Еще двое, неловко присев на корточки, пилили под самый корень и задевали локтями землю. Тополь уже заметно кренился и вздрагивал, будто по стволу пробегала судорога, а самая макушка, раскачиваясь, хлестала о стену дома. Пила трудно лезла в живую мякоть и выгибалась, повизгивая.

Прошло еще минуты три. Дерево вдруг жалобно хрустнуло и повалилось. Ветки зацепились за линию, провода замкнули и брызнули зелеными искрами. Тополь рухнул на заборчик детского сада и подмял его под себя. Рабочие бабьими голосами закричали: «Поберегись!» И убежали, бросив веревки. И народ сразу рассосался: теперь смотреть было нечего. Тополь лежал, еще живой, и тихо шевелил ветками.

Откуда-то появился дядька с топором, сел на поваленный ствол и принялся ладить самокрутку.

Я подошел ближе и положил на пеньек руку. Пеньек был теплый и влажный, а ладонь моя стала желтой от опилок; срез был восковой, и от него пахло грибами. Дядька всем телом повернулся ко мне. Он лизал кончиком языка папиросу и глядел исподлобья: чего тебе?

Я отряхнул опилки и спросил:

— Зачем свалили?

Дядька неожиданно вздохнул:

— Я вот тоже против был, да кто меня послушает! — и махнул куда-то в сторону. — Тут в доме начальник жил, он не давал. Начальник уехал, и пилим. Мы — люди маленькие.

Я кивнул ему: спилили — и ладно. Вася не давал тополь трогать. Жил человек — дерево стояло, нет человека — и дерева нет... Наверно, мы, кто остался здесь, многого еще не досчитаемся, потому что этого человека теперь нет. А после меня вот все останется как было, потому что я выше всего ценю собственное спокойствие. Я ничего не защищал, ни за что не дрался. Я рассуждал — он делал и совсем не боялся, как это выглядит со стороны. Я бывал прав чаще, чем он, но кому от того польза?

Кажется, завидую?

Да, завидую! И мне в этом не стыдно признаться.

...Я незаметно свернул с дорожки и теперь шел по целику. Ноги топки вязли в снегу. Во мне накипало зло к



самому себе, к тем, кто велел спилить дерево, к тем, кто ничего не любит и никого не жалеет. В ботинках была вода, а я все брел и брел. Я так делаю, когда у меня болят зубы — хожу до изнеможения, чтобы устать, забыться, уснуть...

## 2

**Н**А другое утро я сел за свой стол. Ни о чем не думалось, и голова была тяжелой.

Передо мной лежала тугая папка с документами, и я никак не мог развязать узелок на ее тесемках, вернее, не очень старался.

Под Степанидой Ивановой противно скрипел стул. Раньше я этого скрипа не замечал. Раньше многое не замечалось.

Мне вдруг захотелось, чтобы она вышла сейчас же и не возвращалась как можно дольше. Машинистка, наверно, затылком почувствовала мое настроение и встала, прихватила какие-то бумаги и робко, бочком выскользнула за дверь. В спешке не успела задвинуть ящик стола. Там у нее все было аккуратно: копирка слева, чистая бумага справа; коробка со скрепками, неочиненные карандаши, ластик. А это что?! У дальней стенки ящика я посмотрел стопку одинаковых синих конвертов. Меня обожгла догадка, которая сразу сложилась в уверенность. Я потянулся к столу и схватил письма. Один, два, три... шесть. Целых шесть! Семену Галенко от Гали Ключко. Я дрожащими руками надрывал конверты и сыпал на пол засохшими цветами. Она ведь обещала присылать цветы... Коротенькие, в половину тетрадного листа, записки складывал в карман. Я прочитаю их после, один. Совсем один. Но, черт возьми, зачем она их прятала? На это, если спросить, и сама не ответит толком. Просто ей

ненавистно, когда кто-нибудь рядом радуется.

В коридоре зашаркали шаги. Я сгреб письма и сунул под папку. Стоял, выпрямившись. Ждал. Если бы я дело имел с мужчиной, я дрался бы с ним в кровь, с настоящей ненавистью. Но она женщина. И все равно этих самодов не стоит прощать.

Она по моему лицу поняла, что предстоит неприятное объяснение, и замерла на пороге. Села, ни к чему не прирагиваясь.

Я сказал слишком спокойно:

— Степанида Ивановна, вы слышите меня?

— Да.

— Неудобно, знаете... Давно хотел помочь вам, да не решался. Дело в том, что браслетка для часов, которую вам подарил муж, не золотая, понимаете? Это дешевая подделка и стоит два рубля. Хотите, я снесу ее в лабораторию, там анализ сделают и точно скажут, из какого металла? Хотите?

Она повалилась лицом на машинку и беззвучно заплакала.

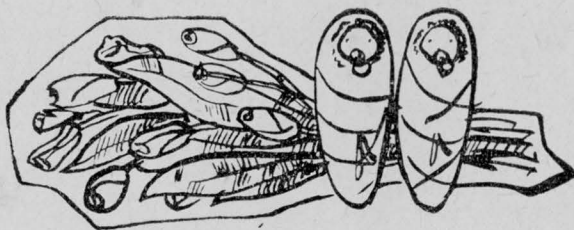
Я смотрел на ее вздрагивающие плечи. Я не жалел эту женщину, но удовольствия от мести не испытывал.

Я прислушиваюсь.

Вот опять спекшийся снег шуршит по крыше, катится и падает в пустоту. Я, пожалуй, открою окно. Говорят, еще рано открывать окна, но я не стану следовать благоразумным советам. У меня ведь теперь свой кабинет на четвертом этаже нового заводоуправления, я здесь хозяин.

Я открою окно! Там стучит капель, и кирпичи на карнизе потемнели от воды.

Эту весну я встречаю один. Нет рядом моих самых близких людей. Но я их помню и всегда буду думать о них особенно сильно, когда на дворе стучит капель.



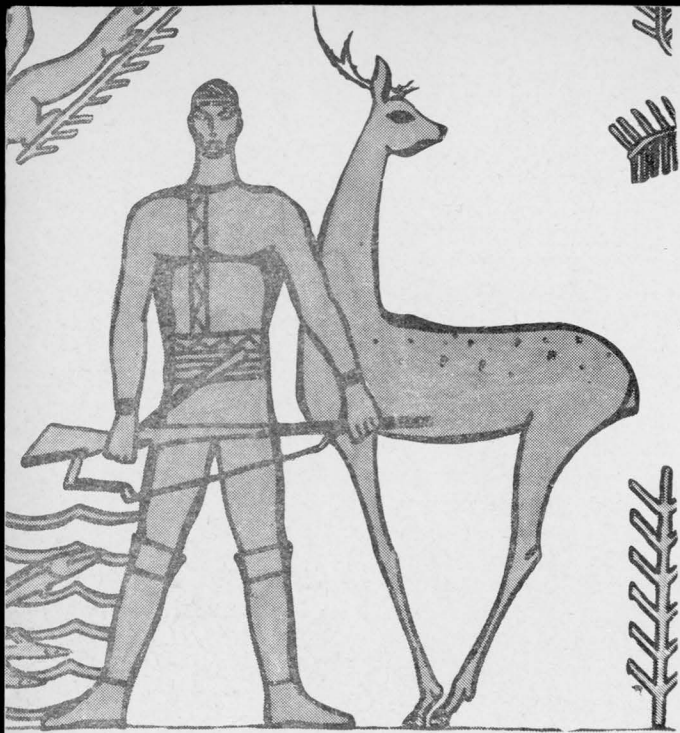
Николай Новосельцев — живописец-монументалист. Девять лет назад, после окончания Ленинградского института живописи имени Репина, он приехал в г. Кемерово. Первой большой его работой в городе химиков была роспись фойе областного драматического театра имени А. В. Луначарского. Сейчас в области почти нет крупных очагов культуры, где художник не запечатлел бы свои мысли и образы в монументальной росписи залов, фойе, вестибюлей. Это — Дома культуры кемеровских строителей, беловских цинкоплавильщиков, шахтеров Междуреченска и Бабанакова... Свой вклад внес художник и в замечательную роспись нового вокзала в г. Кемерове.

Всеобщее признание завоевала картина Н. Новосельцева «Народные мстители», в которой запечатлен облик славной нашей землячки, героини Веры Волошиной. Картина эта экспонировалась на Всесоюзной выставке молодых художников во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве. Сейчас она заняла почетное место в областном краеведческом музее. Успехом пользовались работы художника, представленные на состоявшейся в прошлом году в г. Новосибирске выставке «Сибирь социалистическая»

Иллюстрации к произведениям этого номера альманаха — первый опыт Николая Новосельцева в области книжной графики.

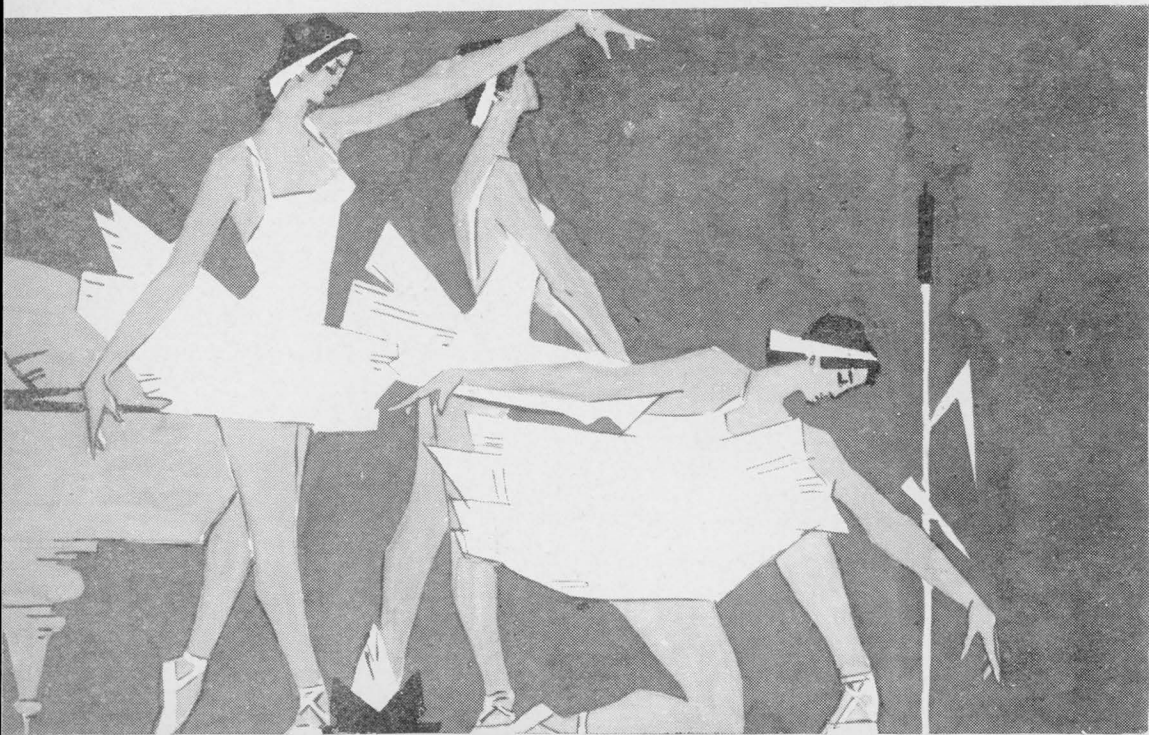


ФРАГМЕНТ ЭСКИЗА  
«ОБНИМИТЕСЬ, МИЛЛИОНЫ!»

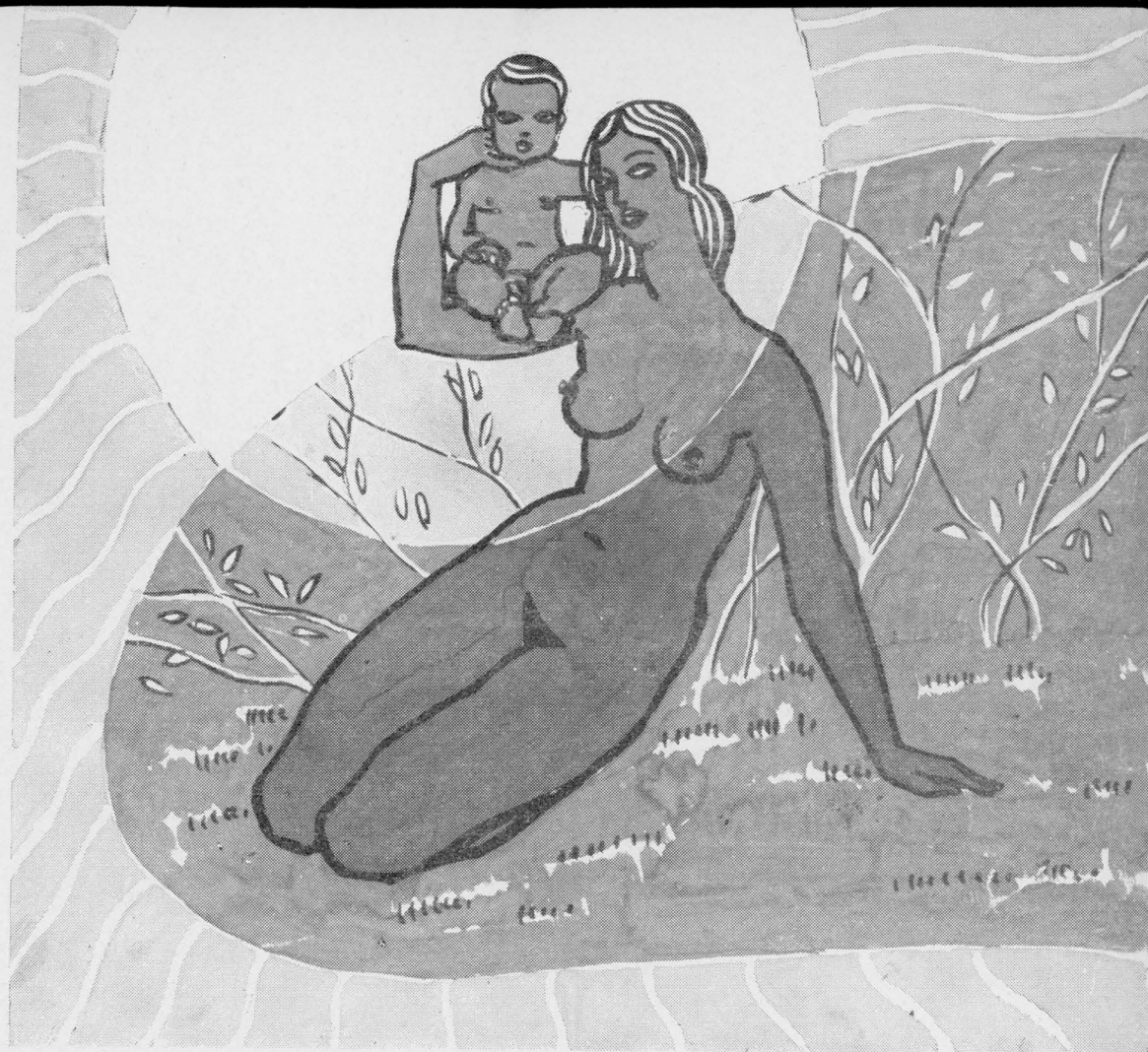


ФРАГМЕНТ РОСПИСИ  
«КУЗБАСС»  
(КЕМЕРОВО, ДВОРЕЦ  
СТРОИТЕЛЕЙ)

ФРАГМЕНТ НАСТЕННОЙ РОСПИСИ «ИСКУС-  
СТВО» (КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛДРАМТЕАТР)







ФРАГМЕНТ РОСПИСИ  
«МАТЕРИНСТВО»



ЭКИЗ-СТЕЛЛАЖ

## Александр Ибрагимов

### Утреннее стихотворение

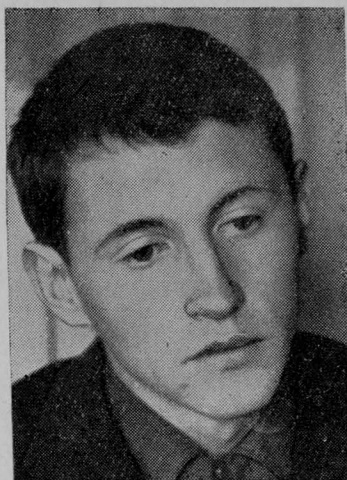
Я просыпаюсь утром рано  
в умытой солнцем тишине.  
Дома, одетые туманом,  
плывут, как айсберги, в окне...

Мой город  
видит утренние сны,  
деревья в скверах зябко  
прикорнули.

И время положив тихонько на весы,  
застыла тишина в неслышном карауле.  
Выходят дворники и поливают клумбы.  
Они, совсем как новые Колумбы,  
приходят в город, открывая утро,  
и выметают ночь с окурками  
и пудрой...

Вы, дворники, —  
поэты сонных улиц,  
ночных подъездов, лунных площадей,  
Приходит в город утренняя юность  
с улыбками  
шагающих  
людей!

Я просыпаюсь, умываюсь,  
в себя вдыхая тишину,  
и всем счастливо улыбаюсь,  
припав к открытому окну.  
Я тороплюсь увидеть солнце,  
улыбки солнечных людей  
и пахнущие солнцем сосны  
в каскадах солнечных лучей.



*Саше Ибрагимову 17. В этом году  
он закончил школу. Впереди — жизнь.  
Все будет впервые — и любовь, и ра-  
бота. Все будет открытием. Эти сти-  
хи — тоже впервые.*

Я выбегаю по ступенькам  
в зеленый, странно-ранний мир.  
За мною смотрят с изумленьем  
зрачки проснувшихся квартир.  
И по туманному асфальту  
спешу!

Быстрой  
в осенний лес!  
Как солнечная электросварка,  
листва  
разбрызгана с небес...

### Ящик водки

Лежали мы уставшие:  
сдали цех.  
Жадными затылками  
прерывался смех.  
Кто-то громко чавкал,  
раздавался храп.  
С соседнего участка  
подбежал прораб.  
«Послушайте, монтажники,  
цех...

нужно утром...  
Случается ж у каждого,  
а вам  
не трудно».

Угодливо хихикает:  
«Ящик водки вам!»  
Посматривает хитро:  
«Ведь общий, наш же план!..»  
Ну что же,

поработаем.  
Пот, как град.  
Работали, как роботы,  
как чертов агрегат.  
Мозоли, словно раны,  
а мы входили в раж!  
Утром рано-рано  
закончили монтаж.  
Свалились как убитые



тут же  
спать,  
большие и небритые.  
Сдано на пять!  
Улыбками блаженными  
светились наши лица,  
как будто из сражения  
входили мы в столицу...  
Проснулись вдруг от топота.  
Два типа и прораб —  
Лилось со лбов три пота,  
и нос краснел, как краб.  
«Привет моим стахановцам!  
Заждались, небось?  
Вот вам три стакана  
и на закуску... гвоздь!..  
Чего вы удивляетесь?  
Вот он, ящик, —  
ваш!  
Не даром же старались.  
Шабаш!»  
Ярый, обозленный  
Витька встал.  
Витька —  
наш пижончик! —

прикурить дал!  
«На тебе твой ящик!» —  
сапогом вдрызг.  
Допотопный ящер,  
брысь!  
Ни во что не веришь?  
Все тебе — мура?  
Правоверный дервиш,  
а как же  
Ангара?  
А как же Братск,  
а стройки,  
а Комсомольск?  
Ложатся стройки в строки,  
в один великий мост!  
Сквозь войны и парады,  
под мощный визг  
мы строим над врагами  
мост в коммунизм!  
Лежали мы уставшие,  
не раскрывая век.  
Сегодня  
стали  
старше  
на целый век!

## Знаете ли вы, что...

...первую подпольную типографию в Кузбассе организовал видный деятель Советского государства и Коммунистической партии Валериан Владимирович Куйбышев в 1906 году. Находилась она в городе Кузнецке, в бане купца Фонарева, дочь которого сочувственно относилась к большевикам. В подпольной типографии печатались листовки и прокламации.

...первый литературно-художественный альманах Кузбасса назывался «Окрошка». В партийном архиве области хранится один из рукописных номеров альманаха. Он был выпущен в 1909 году в городе Мариинске. Редактором и издателем альманаха был политический ссыльный П. А. Аниконов.

...первой изданной на земле Кузнецкой книжкой была небольшая брошюра под названием «Война белых и красных». Ее выпустил политотдел сражавшейся с колчаковцами 27-й дивизии 5-й армии в начале 1920 года. В брошюре, набранной и отпечатанной в Мариинской типографии, популярно рассказывалось о том, что несет с собой Красная Армия, почему важно быстрее расправиться с врагом и скорее приступить к мирному строительству.

# Беглец

## Рассказ

**В**ЕСЬ день было пасмурно, и потому небо казалось вечерним. Несколько раз принимался идти снег. Холодные хлопья ложились на плотную землю, на опавшие желтые листья и тотчас таяли. Улицы были мокрыми, продрогшими, какими они бывают только поздней осенью.

Лапшин приехал в город уже после обеда. С утра, как только он вышел из дома, ему пришлось несколько часов ждать автобуса под ветром, на тракте. Так и не дождавшись его, Лапшин вернулся домой, надел поверх пальто зеленый брезентовый плащ и снова вышел на тракт. Ему удалось остановить грузовик, и он забрался под какие-то мешки, улегся на солому и только тут немного отогрелся.

Впрочем, все это для него, молодого и сильного, было пустяком. Он спешил к знакомой девушке, с которой условился пойти сегодня в театр. И в городе Лапшин первым делом позвонил ей. Затем он зашел в парикмахерскую. Там смахнули ему с подбородка и с обветренных скул колючую жесткую щетину, постригли и причесали.

Лапшина ждал приятный вечер, и потому настроение у него было бодрое и, несмотря на погоду, весеннее. Негромко насвистывая, он подошел к автобусной остановке. Здесь он заметил мальчонку лет шести. Одет мальчонка был в новое кофейного цвета пальто с капюшоном и красивыми дымчатыми пуговицами. Стоял он здесь, должно быть, давно, но ничем не проявлял своего горя или беспокойства. Он терпеливо ждал чего-то, и бледное лицо его выглядывало из капюшона печально, но спокойно.

Нижняя обветренная губа его треснула и кровоточила. Время от времени он слизывал набегавшую капельку крови и рассеянно морщился. Ноги в заляпанных жидкой грязью и насквозь промокших ботинках, вероятно, начинали коченеть: он осторожно переминался с ноги на ногу.

Другой раз Лапшин, возможно, и не обратил бы на него внимания, но сейчас, присмотревшись, он понял, что с мальчонкой что-то случилось. Между тем именно сегодня Лапшин ощущал себя особенно сильным и счастливым и потому никак не мог примириться с тем, чтобы рядом с ним кто-то страдал. Ему хотелось, чтобы всем было так же хорошо, как ему.

— Куда едешь? — наклонился он к мальчонке.

Тот неторопливо повернул к нему свое бледное лицо.

— Я не еду. Я стою.

Лапшин засмеялся.

— А как звать тебя?

— Вовкой.

— Ты что — потерялся?

Вовка вздохнул и отвернулся с таким выражением, словно хотел сказать: «Ну как можно задавать такие бестактные вопросы?» Да и ответить на такой вопрос было нелегко.

Утром, как всегда, мама отвела его в детский сад. После тихого часа ребят повели гулять. Вот тут-то он, улучив момент, мышонком юркнул в какой-то переулок. После этого он бродил по городу, очарованный собственной свободой, движением автомобилей, людской суетою, широкими окнами магазинов. Вместе с какими-то мальчишками, забравшись на уступ фундамента и привстав на цыпочки, он смотрел в окно типографии. Большие машины длинными железными пальцами уверенно хватали белые бумажные листы и складывали их в большую стопу.

Затем он очутился на реке. Здесь было очень холодно. Все лодки были вытащены на берег и лежали, как мертвые рыбы: белыми брюхами вверх. Здесь-то на берегу он и утопил в глубокой грязи свои галоши. Потом он попал в городской сад. Место это было знакомо. Еще недавно тут располагался цирк: кувыркались разбитные клоуны, танцевали лошади, порхали с трапеции на трапецию воздушные гимнасты. Сейчас на этом месте целыми охапками лежали одни лишь желтые и красные листья. Вовка набрал их полные карманы. Немного покатался на качелях, но в саду было слишком пустынно, дул ветер, и вершины деревьев качались в сером небе. Он опять вышел на улицу. В это время пошел снег. Закружился, засуетился, зарябил перед глазами. Голуби-сизяки, неторопливо ходившие по мостовой, поднялись шумной шуршащей стаей и скрылись в чердачном окне большого кирпичного дома. Внезапно тучи раздвинулись, и на город пролилось солнце, словно просо из разорвавшегося мешка. Снег еще шел, а солнце светило и смеялось, будто не замечая непогоды. Потом опять все стало хмурым, безрадостным. Из дверей булочной вкусно запахло свежим теплым хлебом. Тогда пришла мысль, что пора идти домой.

— Значит, путешествуешь? — спросил, улыбаясь, Лапшин. — Ну, ничего. Я тоже весь день путешествую. Ты адрес свой знаешь? Ну, где ты живешь?

Вовка назвал улицу и номер своего дома.

— Тогда о чем речь! — Лапшин хлопнул Вовку по плечу. — Через полчаса будешь дома. — Подумал, посмотрел на часы:

— Ничего, обернемся. Как тебя по батьке-то?

— Борисович.

— Ого, да мы с твоим батькой тезки. Кто он у тебя?

— Летчик.

И оттого, что Лапшин разговаривал с ним просто и приветливо, как равный с равным, Вовка тоже приветливо взглянул на него и доверчиво улыбнулся.

Подождал автобус. Лапшин с Вовкой вошел в переднюю дверь. Среди людей в субботней автобусной суете мальчонка совсем оттаял и принялся рассказывать, что мама купила ему краски и он нарисовал фабрику с большими трубами, и что мороженое мама ему не покупает, потому что скоро зима, и, кроме того, у него слабое горло, и недавно была ангина, и врачи хотели положить его в больницу, но мама не позволила.



Разговаривая с Вовкой, вглядываясь в его милое, по-детски нежное лицо, в живые глаза с длинными девичьими ресницами, Лапшин подумал: «Вот поженимся, и у нас будет такой же славный пацан». Впервые он подумал о том, какое это странное и удивительное счастье — любить женщину, иметь ребенка и знать, что в нем соединилась твоя и ее жизнь.

Вышли из автобуса. Взявшись за руки, пошли по улице. Лапшин спросил Вовку:

— А кем твоя мама работает?

— Она раньше закройщицей была, а теперь она ОТК.

Лапшин посматривал на Вовку сбоку, и непонятное беспокойство овладело им. Лицо мальчишки вдруг показалось ему знакомым. Или он видел уже его где-то, или был он похож на кого-то очень близкого.

— Как фамилия твоя? — спросил Лапшин.

— Иванов.

Фамилия Лапшину ничего не сказала — у него было несколько знакомых Ивановых, но ни у кого из них такого мальчонки не было.

— Правильно мы идем?

— Угу.

— Узнаешь места?

— Вон он, наш дом.

— Какой?

— А пузатый-то!

Лапшину пузатый дом не понравился. Бывший купеческий особняк, одичалый, уродливый, как зоб, метра на два вырвался из порядка новых домов. Ему б отступить, попятиться, да некуда. За спиной его уже началось строиться что-то большое, многоэтажное, может быть, театр или Дом культуры. Будущие колонны прочертили пространство ржавыми прутьями арматуры. Угрожающе скрипели самосвалы, поплескивая жидким бетоном. Наотмашь замахнулся башенный кран, словно норовя ударить в затылок купеческой хороmine.

А рядом с домом тополь. Сильный, большой, весь в широких желтых листьях. Он был бы красавцем, если бы не омертвевшая голая ветвь. Вскинутая в небо, как огромная серая рука, она словно что-то искала в нем.

Недовольство домом усилилось у Лапшина, когда они вошли внутрь. На лестнице — ветер, летящий в разбитое окно, ступени обшарканы подошвами, грязные.

Из-под пыльного половичка Вовка достал ключ, отпер дверь. Вошли в хмурую высокую комнату. Лапшин огляделся. Полированный комодик у стены. На нем зеркало, пудреница, расческа. Круглый стол, подле него мягкое кресло. На столе тетрадки и книги. Две кровати: большая, никелированная, и детская с сеткой.

Все в комнате просто, чисто, скромно, и все-таки во всем какой-то привкус несчастья. В окно смотрело тусклое небо и серая голая ветвь, которую он видел с улицы.

Прежде всего Лапшин велел Вовке снять ботинки. Переобул его в материнские мягкие ночные туфли. Усадил в кресло, укутал в свое теплое и сухое пальто. Затем Лапшин выглянул в коридор, увидел там чьи-то дрова, внес их в комнату, нащипал лучины и растопил печь.

— Что это у тебя? — заинтересовался Вовка, увидев у Лапшина зажигалку.

Зажигалка была замечательная, с фокусом: нажмешь небольшую кнопочку — отскакивает крышечка, и в тот же миг вспыхивает пламя над фитилем. Закроешь крышечку, и пламя гаснет. Вовка, смеясь, стал зажигать и тушить пламя. Он нажимал кнопку и думал: «Как хорошо

быть взрослым — всегда можно ходить с зажигалкой в кармане».

Лапшин поставил на плитку чайник, присел на корточки перед дверкой, закурил, пуская дым в поддувало. Ему приятно было, что он сделал доброе дело. Вовку между тем обуяла жажда деятельности. Он вылез из пальто и, шлепая большими туфлями по комнате, заспешил к дивану. С помощью кочерги он вытянул из-под него самодельный деревянный пистолет:

— У тебя есть такой?

— Да, это вещь! — похвалил Лапшин.

— Это что! А вот, смотри! — Вовка достал ружье и коробку с пистонами. Ткнув пальцем в окно, сообщил таинственно: — У нас на том дворе заграница, а мы пограничники: я, Колька из шестой квартиры, Вера и Нина. У нас и собака есть — Найда. Овчарка! Такая злая! Одного шпиона она насмерть загрызла. — Вовка испытующе посмотрел Лапшину в глаза: «Верит ли?». Дяденька верил.

Лапшин поднялся, кинул окуроч в печь, взял пальто:

— Мне пора.

Вовке ужасно не хотелось оставаться одному. С детской наивной хитростью он высыпал на Лапшина целую кучу вопросов:

— Ты где живешь?

— В совхозе.

— А что делаешь?

— Хлеб.

— Ты пекарь?

Лапшин развернул ладони — твердые, мозолистые ладони механизатора.

— Разве у пекаря такие руки? Комбайнер я.

Лицо Вовки засветилось радостью.

— Дяденька, можно взять твою соломинку?

— Соломинку?

Вовка подбежал к вешалке, где висел плащ Лапшина.

— Вот она! — Осторожно, двумя пальцами, словно пугливую бабочку, он снял с плаща прилипшую соломинку.

— Зачем тебе? — спросил Лапшин.

Вовка удивился наивности взрослого.

— Мыльные пузыри видел?

Отыскивая мыло и блюдце, щебетал без умолку:

— А если надуть пузырь — большой-пребольшой, — может он человека поднять?.. А кошку?.. А мышонка?..

Наливая в блюдце воду и растирая мыло, выпрашивал:

— У вас в совхозе много соломы?

— Много. Всем ребятишкам городским хватило бы.

— Будешь пускать пузыри?

Лапшин засмеялся.

— Мне, брат, идти пора.

Вовка обгорчился:

— Ну, хоть один шар пустим. Хоть маленький.

Времени у Лапшина оставалось в обрез. Надо было поторапливаться. У самой двери он обернулся и зачем-то спросил:

— Так, значит, летчик у тебя папка?

— Летчик, — и Вовка стал рассказывать, что папка у него летает на ТУ-114, что живет он в Москве, но прилетит и заберет его и маму с собой, что он еще и охотник, и такой сильный, что один на один перебарывает медведя.

— А хочешь, я тебе панку покажу?

— Ну что ж, покажи, — пожалел его Лапшин. Ему ясно было, что мальчишка просто оттягивает время.

Вовка залез на кресло, дотянулся до верхней полки этажерки, стянул оттуда большой альбом в синем бархатном переплете, протянул Лапшину.

— Держи!

Лапшин полистал. Незнакомые лица, открытки с цветами.

— Не здесь, — нетерпеливо вмешался Вовка и перевернул несколько страниц. — Вот он, мой папка!

На фотографии, вырезанной из газеты, Лапшин узнал себя. Три года назад корреспондент областной газеты сфотографировал его на поле, у комбайна, вместе с напарником Ильей Баталиным. Да вот и он, Илья. Не хотел фотографироваться, отвернулся.

Лапшин посмотрел на Вовку внимательным долгим взглядом.

— Ты же говорил — летчик?

Вовка не растерялся:

— А папка и на комбайне может... и на машине. Он на всем умеет...

— А твою маму Валей звать? Валентиной Ивановной? Так? — глумлив от волнения голосом спросил Лапшин.

— Валей, — подтвердил Вовка.

Еще перелистнул альбом. Мелькнули, как прохожие на улице, незнакомые люди и вдруг... Ее лицо. Близкое до головокружения, до спазмы в горле.

Фотография старая, новых нет. А какая она теперь? Как живет? Лапшин стоял, пораженный мыслью, что это ее комната, что здесь каждая вещь трогана ее руками, что здесь живет ее дыхание, а этот вот, случайно встретившийся мальчишка, — его сын...

Довольный тем, что Лапшин не уходит, Вовка с упоением занялся мыльными пузырями.

— Смотри, смотри!

Большой шар оторвался от соломинки. Слишком большой, непрочный, поплыл в воздухе, колеблясь и изгибаясь. Вовка хлопал в ладоши, дул из-под низу, чтобы шар поднялся к потолку. Но шар не хотел лететь. Лениво изгибаясь, он упорно норовил опуститься.

— Дяденька! В нем окошко!

Обыкновенное слово больно резануло сознание Лапшина.

Шар коснулся спинки кровати, рассыпался мелкими брызгами. Вовка провел рукой по воздуху.

— Где же он?

На плите задребезжал крышкой чайник. Лапшин налил Вовке чаю, достал с полки батон, сыр.

— Ты давай ешь!

Вовка забрался с ногами на кресло, стал есть хлеб с сыром и запивать чаем. Но, не допив, он отодвинул чашку, склонил голову на мягкую спинку кресла и моментально заснул.

В комнате медленно сгущались сумерки. Лапшин забыл, зачем приехал в город. Он думал о Валентине.

Семь лет не видел ее Лапшин. Должно быть, она сильно изменилась... А Вовка на нее не похож. Он похож на самого Лапшина. В нем много лапшинского, родового, даже кое-что от деда, например, вот эти чуть припухшие верхние веки и озорная весенняя синева глаз. «Соломинке обрадовался!» — не по себе стало Лапшину, горько. Невольно задевало и то, что Вовка совсем не похож на знакомых деревенских мальчишек. И одет он не так, как они: курточка слишком узкая, и штанишки короткие, и это пальто с капюшоном... А главное бледен, печален,



слаб. Руки — цыплячьи крылышки, лопатки выдаются, весь осторожный, будто чем-то напуганный. А Лапшину нравились загорелые, верткие, цепкие, каким он был сам когда-то. Обидно, что Вовка такой нездоровый, что чертами лица похож на девочку, что в карманах у него желтые и красные листья, а не болты и гайки. «Женское воспитание! — невольно думал Лапшин. — Небось конфетами его пичкает да пирожными. Кутает, как куклу... Его б на поля, да в бор, да борща полевого с добрым куском мяса или ухи с костровым дымком... За неделю бы оживел».

За окном ветер раскачивал сухую ветвь тополя.

В это время сперва на лестнице, затем в коридоре слышались шаги. Лапшин поспешно вынул портсигар, выхватил папиросу, но закурить не успел.

Валентина остановилась в дверях.

— Борис?

Он сделал шаг навстречу.

— Как видишь... Так уж получилось...

Растерянность ее длилась недолго. В какие-то две-три секунды она почти справилась с охватившим ее волнением.

— Обожди. Я сейчас. Позвонить в детсад...

Когда она появилась у соседей, те были удивлены ее бледностью, рассеянным и возбужденным видом. Листая абонентную книжку, она никак не могла найти нужный номер. С трудом отыскав его, она сказала в трубку, что с Вовкой все в порядке. Она захлопнула дверь соседней квартиры, но не сразу пошла к себе, а некоторое время стояла в коридоре у разбитого окна, глубоко вдыхая холодный воздух.

После этого она вернулась к Лапшину.

— Садись, — сказала она.

Наклонившись к сыну, она осторожно пощупала его лоб. Спросила Лапшина шепотом:

— Как же это ты рискнул?

— Что?

— Зайти к нам.

Он пожал плечами. Что он мог ответить?

— В адресном столе узнавал?

— Нет. Меня сюда Вовка привел.

— А его где нашел?

— У автобусной остановки. Иду, смотрю, парнишка...

Валентина не поверила, усмехнулась.

— Расскажи, как живешь, — сказал Лапшин.

Она подошла к вешалке, сняла с себя и повесила серое осеннее пальто, сняла шляпу, остановилась у зеркала, поправляя волосы.

— Как живу... Просто: работаю, учусь. У вас что теперь? Совхоз?

— Да.

Они говорили шепотом, чтобы не разбудить Вовку. Она очищала ботинки сына от прилипшей грязи, а Лапшин смотрел на нее и думал о том, как непохожа она на ту, прежнюю девушку с полудетским телом и жиденькими золотистыми косичками, которую он знал когда-то.

— Ты красивая стала.

— Ты находишь? — притворно удивилась женщина.

Лапшин вздохнул тяжело, опустил глаза.

— Вовка мой, стало быть?

— А чей же еще?

Он посмотрел на часы.

— Торопиться? — спросила она.

— Нет, не особенно.

Теперь, конечно, можно было уже не торопиться.

«Зачем, зачем он пришел? Чего ему от меня нужно?» — лихорадочно думала Валентина, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение. Она успела заметить, что Лапшин в новом костюме, что на шее его новый галстук, что скулы его гладко выбриты и от него исходит густой запах «Шипра». Все это как будто исключало случайный характер посещения. Но как он нашел ее? Откуда он узнал, что она в городе? Спросила:

— Уборочную закончили?

— Да.

Он еще раз, более подробно рассказал ей о встрече с Вовкой, но она опять не поверила. Вытерев сухой тряпкой ботинки сына, Валентина повесила их над плитой и стала прибирать на столе. Сложила стопкой и унесла книги.

— Учишься? — спросил Лапшин. — Где?

— В пединституте.

— Учительницей будешь?

— Да.

— Трудное это дело.

Валентина подняла на него прямые и серьезные глаза.

— А что в жизни легко?

Лапшин знал, что она права. Больше всего ему хотелось встать и уйти. Но уйти он не мог.

Валентина постелила сыну кровать: откинула одеяло, взбила подушку. Указала взглядом на Вовку. Лапшин понял ее, на цыпочках подошел к сыну, осторожно взял его на руки, переложил на кровать. Вовка на мгновение пробудился, не открывая глаз, пробормотал:

— Мама... листья.



— Какие листья?  
— В карманах, — пояснил Лапшин.  
— Намаялся, беглец, — улыбнулась Валентина, накрывая его одеялом.

И в том, что они вместе укладывали мальчонку спать, и в самом шепоте, которым они разговаривали друг с другом, было что-то такое, что невольно сближало их. Женщина первая уловила эту близость и стала тем же шепотом рассказывать о болезненности Вовки, о его последней, самой тяжелой ангине и шумах в сердце.

— В деревню бы его, — сказал Лапшин и покраснел густо, туго, от лба до шеи.

— Да, — кивнула Валентина, отводя глаза от его лица.

Лапшину было тесно, неудобно в этой комнате. Нужно уйти и обдумать все наедине с самим собой.

— Торопишься? — опять спросила Валентина. И прибавила просто: — Расскажи о себе.

— О чем говорить! — грубовато откликнулся он, — живу, как все.

— А помнишь Лагерный сад?

— Как же.

Он вспомнил, как стояли они на обрыве над Томью и говорили о своем будущем. Они мечтали прийти к нему вместе.

— Учиться не стал?

Он небрежно усмехнулся.

— А к чему мне?.. Да и времени нет.

Сказав неправду, он замолчал от обиды на себя. Резко ощутил то, что тяжестью лежало на сердце: давно уже он жил расхлябанно, не растративая сил, и давно знал, что надо взять себя в руки, встряхнуться, но все откладывал, как безвольные люди откладывают трудные дела.

— Куда ж ты потом делась? — спросил он Валентину.

— А ты разве искал?

— Да.

— Плохо искал, если спрашиваешь.

— Думал, ты замужем.

— Неправда.

По тому, как она произнесла слово «неправда», он понял вдруг, что у нее нет и не было никого, кроме него. Ее верность поразила его и наполнила гордостью за нее и за себя.

— Вовка на тебя похож, — прошептала Валентина, — Иногда скажет что-нибудь, в точности ты.

Лапшин взглянул в окно. На улице уже светили фонари.

— Ты видела ветку? — спросил он. — Сухую? Опасная штука. Ты скажи, кому у вас тут полагается: Дворнику, что ли? Чтоб срезал. Тоже небось деньги получает, а не смотрит. А то ведь дети ходят. Чем черт не шутит. Шарахнет кого-нибудь с высоты.

Валентина улыбнулась.

— Нет у нас дворника.

— Тогда я сам завтра срежу. Принесу пилу и срежу. Опасная штука.

— Опасная, — согласилась Валентина.

— Завтра же срежу.

Он снял плащ с вешалки. Она помогла ему натянуть его на пальто. На минуту помедлил подле двери с шапкой в руке. Произнес тихо:

— Ты давай отдыхай.

Протянул руку. Она поспешно, смущенно, словно они первый раз расставались, подала свою.



На улице он пошел быстро, стремительно. Дойдя до будки автомата, решительно раскрыв дверь, набрал номер. В трубке что-то брякнуло и запищало. Он не стал слушать, перебил:

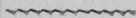
— Не смог... Не смог и все. Нет, нет. Ни сегодня, ни завтра. И вообще не приду. Нет, не шучу.

Трубка еще пищала что-то жалкое, как голодный котенок, но Лапшин повесил ее на рычаг, и писк оборвался.

Ночью был сильный ветер. Гремела под его ударами крыша старого дома. Бился и грохотал полуторванный лист железа. Дом скрипел во сне, пугливо вздрагивал. Перед рассветом ветер, словно огромной метлой, вымел с неба мусор мокрых туч и развесил над городом тысячи чистых сверкающих звезд.

Валя не спала. Долгие семь лет текли и текли перед ней. В темноте, в своем углу, посапывал Вовка. Все-таки, должно быть, он сегодня простудился.

Под подушкой у него лежала зажигалка, которую, уходя, незаметно сунул туда Лапшин.



Михаил Саулов

Из блокнота  
журналиста

## ЗАПИСКИ О БУДНЯХ РАЗВЕДЧИКОВ НЕДР

**Д**ЕСЯТОК лет новосибирские геологи упорно искали земные клады в Нарымской тайге. И вот на границе двух областей — Тюменской и Томской — брызнул фонтан первой сибирской нефти. Потом вспыхнуло голубое пламя — газ. А пять лет назад и на севере Томской области, в Александровском районе, в местечке Соснино, взметнулся к небу живительный нефтяной фонтан.

Тюменская нефть!  
Тюменский газ!  
Томская нефть!  
Томский газ!  
Сибирские нефть и газ!

Новосибирцы и кузбассовцы уже строят вполне реальные планы на то, какой рывок сделает наша экономика, когда на предприятия Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка придет природный горючий газ.

О тех, кто открыл залежи голубого топлива, и рассказывается в этих записках.

### ПЛОЩАДЬ ТАЕЖНАЯ

**П**О ВСЕЙ Томской области раскинули свои палаточные поселки разведчики газа и нефти. Даже — у черта на куличках! — в самом северном районе, Александровском, возник свой нефтеград. Понятно, пока он в мечтах молодых романтиков, таких, как в бригаде первооткрывателей томского жидкого золота Николая Пономарева, в бригаде, которую в Александровской нефтеразведке «на руках носят!»

— У нас говорят так: кто у Пономарева не бывал, тот и разведчиков не

видал. Так что отправляйтесь на Таежную, — напутствовал нас парторг нефтеразведки Шевченко. — И люди у Пономарева стоящие, да и поиски ответственные — проба на газ...

И вот юркий вертолет-стрекоза с выкрашенными в желтый цвет боками, пофыркав, словно застоявшаяся лошадь, и покрутив своими длинными усищами, берет курс на площадь Таежную.

Нет, это не огромных размеров поле, по которому впору гонять футбольный мяч. Таежная — это маленький пятачок земли, отобранный у тайги, старательно разутюженный вдоль и поперек работягами-бульдозерами и усеянный по обочинам гигантскими гниями, в сумерках похожими на бурых медведей.

Весной по разбитым дорогам и бесчисленным распадам бойко снуют говоруны-ручейки, сбегаясь к речушке Тригородской; и хотя в ложбинах еще держится снег, они, словно страдающие бессонницей старушки, шепчутся меж собой, весело обсуждая свои, весенние, заботы и новости.

Внизу, ближе к селу Александровскому, ручейки уже успели досыта нагоить матушку-землю, и та, в знак благодарности, выслала им навстречу первых своих гонцов — подснежники. Но выше, в тайге, где говоруны только начинают обретать свой «язык», еще настоящая зима: сугробы хоть и почернели изрядно и хоть верхний их слой, изъеденный дождями, стал похож на решето, еще крепко держатся, — и в тайге сыро и холодно по-зимнему. Но ждать, когда отогреется продрогшая за зиму тайга, некогда. И с пилами и топорами в мае шестьдесят четвертого пришли сюда люди: им нужно было монтировать скважину.

Люди раскинули палатки, разожгли на полянах гигантские костры, которые отогнали в глубь тайги зябкий холод, и стали сооружать из бревен посадочную площадку для вертолетов. Тогда же по речушке Тригородской, которая стала полноводной, поглотив в себя тысячи таежных ручейков, из районного центра начали сплавлять оборудование, технику. Так, бригада монтажников Арканова положила начало площади Таежной. А спустя несколько месяцев на Таежную пришли буровики Николая Пономарева.

Сейчас Таежная — это и свой «аэродром» для вертолетов, прописавшийся в центре площади, а потому и являющийся здесь самым бойким местом. Аэродром, конечно, понятие относительное, условное: это три десятка бревен, уложенных в ряд и опоясанных с обоих концов собратями. На этот бревенчатый настил два раза в неделю приземляются внезапно появившиеся, словно скатившиеся с вершук сосен, желтобокие вертолеты, которые привозят разведчикам недр продукты, оборудование, стройматериалы. Вертолеты ждут здесь как бога: значит, закончились четыре дня лесной жизни (приходит смена вахты, и теперь на столько же времени отработавшие покинут Таежную и отбудут на «большую землю» — в районный центр Александровское, чтобы там в русской бане отпарить четырехдневный таежный «загар», побыть наедине со своими любимыми. А сменившая их вахта будет продолжать все дальше вгрызаться в нетронутую землю.

Таежная — это и центральный «проспект», условно названный Газовым, по которому медленно, урча, ползает вездеход «волга»; чтобы не забывалась большая земля, кто-то из бульдозеристов установил на дизеле сигнал легкой автомашины). «Проспект» протянулся на триста — четыреста метров — от аэродрома до буровой вышки. В центре — «пищевой комбинат» — фанерный навес между четырех осин, под ним две плахи, заменяющие скамейки, и наскоро сложенная печка, на которой лихо отплясывают чететку синие, зеленые, черные крышки чайников, кастрюль и бачков.

Таежная — это и затерявшаяся среди кустарников и тайги речушка, непонятно почему названная кем-то Тригородской (может, окрестившие ее думали о будущем и предполагали, что вскоре на берегах речушки вырастут три соседа — города нефтяников и газовиков?), которая стала излюбленным местом отдыха разведчиков и их от личной «сырьевой базой»: уха, сваренная из таежных ельцов и окуней, вкусна на удивление!

**Н**А Таежную мы попали как раз в обеденный перерыв. Мирно похрапывали могучие вездеходы, словно расслабив свои металлические мускулы. Зато на кухне царил необычное оживление. Еще издали мы уловили бойкий перестук ложек о чашки и кастрюли. Механик разведки Сильченко, молодой и симпатичный парень, прилетевший вместе с нами, взглянул в нашу сторону:

— Слышите, как дружно? Значит, поработали от души, — и добавил, улыбаясь: — Верно, пожалуй, в старые времена выбирали работников по аппетиту...

От печки к столам и обратно снова-ла женщина. Это Елена Михайловна Протопопова, повар. «Коллективная мама», — шутят буровики. По аппетиту своих великовозрастных детишек, по бодрящему: «Добавь-ка!» — она определяет, кто и как поработал сегодня. Впопыхах она то и дело натывается на дворянжек и овчарок, которые, послушно положив облизывающиеся морды на вытянутые лапы, нетерпеливо ждут у ног хозяев своей очереди. «Брысь ты!» — ворчит на них строгий повар, но собаки даже ушами не ведут, знают, что ворчит Елена Михайловна без всякой злости. В тайге люди успевают настолько наскучиться по родному дому, что готовы всю свою ласку и нежность выложить вот этим четвероногим друзьям.

Пономарева не оказалось среди обдающих. «На буровой», — кивнул в сторону прорубленной просеки паренек, рыжий не то от рождения, не то до желтизны выгоревший на солнце. В конце просеки, на фоне громадины лих, явно проступали контуры буровой.

Средних лет мужчина, в зеленом бушлате и серой кепчонке, с лицом, заросшим черной щетиной, стоял, прислонившись к деревянным поручням, и старательно подсчитывал что-то в тетрадке. Мы невольно обратили внимание на его бушлат и кепку: они были в коричневых пятнах. Ва! Да это же нефтяные пятна! Это ж он, лесной бог, Николай Пономарев, несколько лет назад взметнувшийся в небо первый фонтан томского черного золота!

Мы оторвали «бога» от дела. Он повернулся к нам и как-то тяжело подал широкую смуглую руку. Глаза — воспаленные, красные. Взгляд — рассеянный, усталый. И нам стало сразу понятно, что и эта, только что прошедшая ночь, и та, предыдущая, были для него нелегкими, беспокойными. Оказалось, и вправду два дня назад случилась авария и им заново пришлось бе-



тонировать стенки скважин. А скважина — непрерывный процесс, чуть замедли — и прахом пойдет все. До сна ли тут!

А тут еще приехавший на Таежную вместе с отцом четырнадцатилетний Петя Пискунов вечером ушел в лес и не вернулся. Всю ночь люди стреляли из ружей, сигналили дизелисты, кричали — бесполезно. А утром, когда только-только начало светать, несмотря на усталость, которая буквально валила с ног, все разошлись на поиски. А исчезнувший появился сам. Оказалось, заблудившись в лесу, он наткнулся на спальный мешок, оставленный кем-то из буровиков километра за четыре от лагеря, и спокойно провел в нем ночь.

Как и на всякой другой буровой, на Таежной идут своим чередом трудовые будни. Метр за метром уходит в землю турбобур, беспрестанно натыкаясь на неподатливые каменные прослойки. И с каждым пройденным метром люди все ближе и ближе подбираются к земным кладам.

Настойчиво грызет грунт упрямый бур. Пройдена тысяча, другая метров вглубь. И может выйти так, что ни газа, ни нефти не обнаружат на этой буровой. Что ж, и такое может случиться, полнейшей гарантии нет — на то они и разведчики. Но зато вторая, третья, наконец, четвертая скважина обязательно выбросят на поверхность газ или нефть.

Люди стойко переносят многие лишения, а об удобствах быта, конечно, и говорить не приходится. Мы были во времянке-общежитии, наскоро сколоченном из фанерных листов. Постели в нем заменяют деревянные нары, разделенные марлевыми перегородками на множество «кровать». Но люди не хныкают, вы не уловите в их взгляде, разговоре ни малейшей капельки пессимизма, не услышите жалоб на неудобства.

Отличные люди на буровых! Вот тот же Николай Пономарев, человек, которому буквально на ходу приходится спать. Он вечно чем-то занят, вечно куда-то торопится. И утомившимся на минуту-другую мы увидели его лишь за каких-то полчаса до рейса вертолета: в ожидании посадки он тут, же, возле площадки, уснул на корточках, и только сильный вихрь, который внезапно выдохнул приземлившийся вертолет, оказался способным разбудить его. А уже через несколько минут, в вертолете, чтобы не терять попусту время, он снова делал какие-то расчеты в тетрадке.

Неугомонный человек, этот Пономарев!

## МЕДВЕЖИЙ УГОЛ?

**Л**ЕТОМ Васюганье — сплошные вязкие топи. Летишь на самолете, а в иллюминаторе — на сколько глаз хватает! — болота, болота, болота...

Кажется, нет им числа!

Великое Васюганье! — оно напоминает гигантскую географическую карту со всеми ее условными обозначениями. Удивительные формы и очертания имеют эти многочисленные озера. Надо только научиться читать эту таинственную карту, понять значение каждого ее знака. Вот природа старательно выписала на огромном зеленоватом листе фигуру медведя, как будто тем самым постыдила единственному хозяину северной тайги, как будто предупреждает: «Не пытайтесь проникнуть вглубь болотную. Ступите — навечно найдете себе покой. Здесь царство зверей и болот...»

А форма другого озера напоминает вопросительный знак. Кому же тайга задала этот безмолвный вопрос? Может, она спрашивает у тебя, человек: «Разгадаешь ли ты мои тайны? Под силу ли тебе такое?»

«Да, под силу!»

Мы своими глазами видели покорителей тайги и ее недр, вечных кочевников, вечно обещающих своим недозволенным женам: «Ну, вот еще одну открою, и уж тогда...» И это «тогда» повторяется каждый раз, когда приступают к штурму новой скважины. А жены так и не могут повернуть своих мужей на тихую и спокойную жизнь.

Мы слушали рассказы томских геологов о тысяче и одной ночи, проведенной в тайге, о тех прямо-таки нечеловеческих радостях, когда кто-то из буровиков оглушающе крикнет:

— Газ!..

И словно эстафета, понесется от одного участка к другому: «Есть!» Значит, покорилась ты, твердь земная, раскрыла клады!

А потом тот, кто первый пустил в свет эту «новость», устало сядет прямо на сырую комковатую глину и, как провинившийся мальчишка, низко склонит голову. «Ошибся... А так хотелось, чтобы было...» Но никто его не упрекнет за это.

## ХОЗЯИН ТАЙГИ... ПОДНИМАЕТ ЛАПЫ

**К**АЖЕТСЯ, все против них. И больше всего геологам досаждают лурга. Она налетает неожиданно, взвихривает колючий снег так, что протяни руку — и не видно ее.

Пурга! Пурга!

Бросать работу? Но тогда лежать на боку у теплой буржуйки и слушать нудное посвистывание за окном злобствующей метели придется неделю, две, три: загуляет, закуролесит северная пурга — не скоро уймется ее. Уж кто-кто, а Кирилл Егорович Котов, — «лесной профессор», — знает властный характер васюганской пурги «свекрови». Кирилл Егорович — старший геолог Усть-Сильгинской нефтеразведки, и ему, как шутят буровики, по штату положено возиться с пургой.

Ох, уж эта «свекровь» — вечный враг геологов!

Бюкет с ней Котов, понятно, не в одиночку (одинешенек в тайге и впрямь не воин). Хлопцы в разведке как на подбор — кражистые, ладные, слова на ветер не пустят, скажут уж если что, не свернут с дороги, пока свое не возьмут. Бурильщики Тестов и Кудалов, дизелисты Соловьев и Тихонов, помощники бурильщиков Цыбин и Федорчук... А Тоня Головина? Ребята называли ее укротительницей. Конечно, не Маргарита Назарова, но тоже толк знает, укрощает строптивого. А ее подопечный, пожалуй, пострашней, чем назаровский Пурш. Разгневаешься — не уговоришь: с газом шутки плохи. Тоня довольна: «Я, говорит, сестра Назаровой по духу. Также к искусству причастна».

Да еще к какому!

Помнится, когда ребята, уставшие после схватки с непогодью, но не утратившие своей веселости, долго, но не зло, шутили над Тоней, кто-то сказал будто между прочим:

— А что, братцы, у нас и сама Назарова не осталась бы безработной. Точно ведь?..

Понятно, мы, журналисты, недоуменно пожали плечами. И нам тут же рассказали об одном презабавном случае. Прокладывали новую трассу. Пробираясь вперед, трактор по грудь залез в снег. Он кряхтел надсадно, словно старик попыхивал трубой, из которой удивительно точными колечками гился сизый дымок.

Ползет трактор прямо в лес, пофыркивая — нипочем ему ни снежные завалы, ни валежник. Но вдруг тракторист встрепенулся: впереди зашевелилась горка снега. «Наваждение какое, что ли? Или переутомление глаз?»

Но вот горка приподнялась еще немного и из нее показалась... заснеженная голова.

Медведь!

Трактор замер. Что же будет? А хозяин тайги, не торопясь, вылез из берлоги, весь посеребренный снежной пылью, медленно встал во весь свой медвежий рост, зарычал, словно предупреждая об

атаке, и двинулся на трактор. Видать, выиграла в нем злость на человека, который осмелился разбудить хозяина тайги и без его, медвежьего, ведома ворваться во владения!

Трактор, попыхивая, двинулся навстречу. Тогда не в меру разъяренный подобным нахальством медведь пошел рукопашную со стальным чудовищем. Он обхватил лапами капот, как бывало по-хозяйски обхватывал пчелиное дупло с медом, и попытался остановить трактор.

Хозяин тайги ревел, стремясь заглушить шум мотора, и только тогда, когда иссякли его силы, он отступил.

Впрочем, схватка с медведем — это просто забавный случай. А бывало и посерьезней...

## НА ЛИНИИ ОГНЯ

**Н**ОЧЬЮ яркие огни буровой отбрасывают у тайги маленький кусочек земли. В глуши, за сотни километров от жилищ, маячит этот светлячок. Вот на этом маленьком пятачке и идет битва за голубое золото: поисковики несут свою трудовую вахту круглые сутки. И в эту ночь, как обычно, бур все глубже вгрызлся в каменную грудь земли. Но вдруг, заглушая рев дизелей, раздался страшный взрыв. Люди остолебели. Замерли стальные сердца машин. И потом сразу наступила такая тишина, что, казалось, пролети сейчас мимо пчела — и ее жужжание покажется мощным рокотом...

А утром буровики увидели удручающую картину. Примерно в ста метрах от вышки валялись искореженные куски металлических труб (на воздух взлетело специальное устройство, разделяющее подземный фонтан на газ и конденсат — нефть).

Мы были на третьей буровой. Там и до сих пор еще, словно в память о той тревожной ночи, в стволе вековой сосны торчит осколок весом... в десятки килограммов. А в тесовой обшивке скважины зияет несколько проломов. И хотя взрывная волна была очень мощной, никто из людей, к счастью, не пострадал.

Третья буровая отличилась и еще раз. И снова победило мужество людей, о подвиге которых потом так восторженно писали томские газеты.

Это было похоже на извержение вулкана, когда неистовые силы, словно заарканенный зверь, колобродят в утробе земли, жадно ища выхода, а потом в дикой пляске вырываются на волю. Вот такая гигантская внутренняя волна, словно пушинку, вытолкнула наверх глиняный раствор, которым нефтеразведчики укрощали газ.

Говорят, беда не приходит в одиночку: на буровой в это время «заартачилась» радиостанция. Как сообщить о беде в контору? А промедление — смерти подобно. И тогда через болота и тайгу в путь срочно посылают гонцов. Ведь с раскуражившимся газом шутки плохи: достаточно только одной искры и забушует над тайгой огненный фонтан.

Двенадцать добровольцев во главе с главным инженером Высоцким сделали шаг вперед: они понимают, чем рискуют, но готовы немедленно отправиться на третью буровую и укротить газ. Так, бывало, в самые трудные минуты на фронте выходили вперед самые смелые, самые преданные Родине.

Больше суток длилась схватка с газом. В невероятно трудных условиях проходила она. Раньше, бывало, свечи — металлические трубы — спускали в скважину мощными дизелями. Здесь же машины перестали быть друзьями: двигатель мог высечь искру, а та была сейчас самым опасным врагом человека. Решили обходиться блоком.

Не спасали брезентовые куртки — через десять—пятнадцать минут люди промокали до нитки. Газ каким-то чудом просачивался сквозь защитные противогазовые маски. Конденсат заливал предохранительные очки. Долго не вытянешь: вахта сменялась каждые шестьдесят минут. Уже в барак люди судорожно срывали с себя противогазы, жадно глотали воздух, и тут же бросались на нары.

И огненный смерч замер.

— Мы как на фронте, на передовой, — шутят разведчики газа и нефти. И понимаешь: в этих словах — гордость за свой нелегкий, но очень нужный людям труд.

И радость, настоящая человеческая

Томская область — Кемерово.

радость, пришла к этим «бездомным» скитальцам, к людям, не знающим ни покоя, ни усталости. Она пришла к ним в августе, два года назад. Тогда, как бывало раньше, тоже кто-то оглушающе крикнул, перекрыв рабочий шум машин:

— Газ!

И все, словно по команде, сбегались к буровой. И это была правда. Газ, вырываясь из вековых оков земли, взметнулся к небу. А когда специалисты прибрали, оказалось, что скважина может дать в сутки сто тысяч кубометров газа. Совсем неплохо!

## ПОКОРЯЕТСЯ ВАСЮГАН!

**И** СНОВА в дороге разведчики недр. Снова их обжигают холодные северные ветры, снова — недоспанные ночи, расставания с любимыми... Но зато потом...

Потом с реки Васюган приходит радостная весть, такая, о которой в конце октября сообщил ТАСС: «Газовый фонтан, ударивший в начале месяца близ поселка Мыльджено (Томская область), в результате опробования новых горизонтов увеличил в два с половиной раза суточный дебит, который теперь достигает полумиллиона кубометров газа в сутки. Это событие ставит новое месторождение в один ряд с такими гигантскими кладовыми «голубого огня», как Березовское. Ценность открытия газа в Мыльджено возрастает потому, что оно ближе всех других находится к индустриальным обжитым районам Сибири — Кузбассу и Западносибирскому экономическому району. Новосибирские нефте-разведчики, открывшие газ в Мыльджено, считают, что новый дебит не предел. Он будет возрастать по мере испытания новых горизонтов».

Покоряется коварное Васюганье. Склоняет голову перед сильными!



**В. Климовский,**

главный режиссер областного  
драматического театра  
им. А. В. Луначарского

## Искусство

# Зритель или действующее лицо?

**Р**АЗДВИГАЕТСЯ занавес. В зале наступает тишина — напряженная, выжидающая. Если закрыть глаза, покажется, что зал пуст. Но сквозь эту кажущуюся пустоту все равно слышишь, как он дышит, живет, задает немые вопросы: «Что увидим мы сегодня? Какую жизнь? Каких людей?»

На сцену выходят актеры. Первая реплика, вторая. Это не начало спектакля. Это уже продолжение. Начало — тот самый постоянный немой вопрос зрительного зала: «Что?» Актеры начинают отвечать. И вместе с тем их ответ переходит в вопрос к залу: «Ну, как? Вам интересно? Не скучно? Как вы к этому относитесь?» Одна реплика. Вторая. Третья. Это — пристройка, знакомство. И вот — первая реакция зала. Она может быть разной: смех, возмущенный шепот, или чуткая внимательная тишина. Зал как бы отвечает актерам. Они слышали друг друга и между ними начинается диалог. Начинается искусство. Зритель превращается в действующее лицо.

У Горького есть рассказ «Зрители». На улице умирает мальчик. Вокруг него собираются прохожие. Они глазают, обсуждают, некоторые даже сочувствуют. Но никто не действует. Все они остаются безучастными. И мальчик остается один. Горький заклеил этих людей словом, которое в данном случае как нельзя лучше выражает сущность: роль людей в описанном событии исчерпалась содержанием этого слова — «зрители». Для того чтобы они стали «действующими лицами», от них требовалось нечто большее, чем просто глазеть. Они должны были совершить ряд физических действий. Для тех же, кто сидит в партере и на балконах театра, слово «зритель» не совсем точно определяет их роль. Но то, что театральный зритель должен быть обязательным участником спектакля, его действующим

лицом — это непреложный факт. Без этого условия не может состояться настоящий спектакль, — даже если он будет добросовестно сыгран артистами, — не может состояться театральное искусство.

Я не хочу сказать, что зритель, сидящий в зале, должен отпускать громкие реплики или еще, чего доброго, засучив рукава, лезть через рампы на сцену. Таких активно «действующих лиц» просто-напросто билетеры выведут из зала. «Действие» театральных зрителей заключается в другом.

Сколько бы ни гасили свет в зрительном зале, сколько бы актеры ни делали вид, что они одни на сцене, сколько бы ни играли «четвертую стену» — они прекрасно знают о присутствии зрителей и не забывают об этом присутствии ни на минуту. Мало того, актеры обращаются к зрителю каждым своим словом, через партнера. Они хотят быть услышанными и понятыми зрителями, они чутко ловят реакцию зрительного зала. Эта реакция-ответ помогает им творить. Без этого ответа не может быть истинного творчества на сцене. И тот безмолвный диалог между актером и зрителем, о котором мы упоминали вначале, — и есть основное условие театрального искусства. Другое дело, что он может возникнуть после первой реплики или гораздо позже, а может и вовсе не возникнуть. Но тогда можно смело сказать, что в этот вечер произведение искусства не родилось. Состоялась, в лучшем случае, читка по ролям авторского текста.

Художник написал картину. На этом его творческий акт кончается. Увидит ли ее зритель завтра, через год или через 100 лет, — объективно произведение искусства существует. Когда бы ни рассматривал картину зритель, он как бы совершает самостоятельный творческий акт. В самой картине в этот момент ничего не меняется — смотрят ли на нее и ничего не понимают, или никто не смотрит.

рит вообще, или смотрят и действуют, то есть сопереживают, мыслят, продолжая развивать и углублять сотворенное художником.

Этого нельзя сказать о спектакле. Он имеет один вид, когда идет при пустом зале (на репетиции, например), либо в заполненном зале, но при отсутствии контакта, диалога между ним и сценой. И совершенно неузнаваемым становится спектакль, когда в нем появляется — по настоящему! — новое действующее лицо — зритель.

В этом и горечь и прелесть нашего искусства. С одной стороны, его короткая жизнь, неповторимость: спектакль окончен и произведение искусства умерло. Его уже не воскресить. Но с другой стороны — его сиюминутность, неоднократное рождение в бесконечных вариантах. Такого спектакля, как сегодня, уже не будет. Но завтра — по той же пьесе, с теми же актерами — будет новый, в чем-то другой, чем-то отличный от вчерашнего. Актеры в отличие от живописца, отыграв премьеру, не заканчивают свои поиски. Они каждый раз, на каждом спектакле, творят заново. (Конечно, если они артисты, а не ремесленники). И каждый вечер создается новое произведение искусства. И каким оно будет сегодня и будет ли вообще, — зависит не только от самих творцов-актеров, но и от «сотворцов» их — зрителей.

Говорится, что «судьба книги зависит от того, кто ее читает». Понимать это выражение можно лишь условно, в переносном смысле, — ведь книга объективно остается той же в любом случае. А вот спектакль и объективно, и фактически меняется, — и не только в день премьеры, когда в зал впервые приходят зрители. (До этого момента мы считаем, что спектакля вообще не существует — есть только репетиции). Он меняется в зависимости от того, какой зритель участвует в нем сегодня. И это обязательно происходит каждый день (в большей или меньшей степени), потому что зрителей одинаковых не существует — они всегда разные. Иногда эти изменения так малы, что заметны только опытному профессиональному глазу. Но иногда просто разительны. Спектакль меняется подчас не только в деталях, но в основном своем качестве, даже в жанре: из интересного превращается в скучный, из драмы — в комедию или наоборот. Звучит анекдотично, но это действительно так.

Такие неожиданные качественные изменения в спектакле чаще всего происходят при резкой смене зрителя. То ли на гастролях, с «чужим» зрителем. То ли в случаях, когда играют спектакль зрителям, дифференцированным по профессиям. На моих глазах спектакль, любимый в одном городе, собиравший полный зал в течение нескольких сезонов, выве-

зенный в другой город, перестал посещаться буквально после двух показов, увял, захирел и был снят с гастрольного репертуара. А вернувшись «домой», еще долго и успешно шел, как бы возродившись заново. Это была «Зимняя сказка» Шекспира. В другой раз спектакль, который мы все считали плохим (и он действительно был плохой), на одной из «выездных площадок» был неожиданно очень тепло принят залом. И в тот вечер актеры играли этот спектакль лучше, и, может быть, единственный раз сыграли его по-настоящему, несмотря на все присущие этому спектаклю недостатки. На сцене было подлинное творчество, и родилось оно — от зрителей. Возможно, что их, зрителей, подтолкнул к творчеству автор пьесы (это был Фигейредо), которого они поняли быстрее и лучше, чем актеры. Не всегда легко объяснить причины таких «превращений». Иногда же они бывают до смешного очевидны. Однажды Б-й театр вывез «Зыковы» Горького — тяжелый драматический спектакль — в один из отдаленных клубов, куда до тех пор театр не добирался. Мы были потрясены тем, в какую смешную комедию превратился спектакль через пять минут после начала. Зрители остались довольны, а мы недоумевали. Однако скоро выяснилось, что в этот клуб несколько лет подряд регулярно возил свои спектакли местный театр комедии. Зрители были воспитаны в духе комедии, настроены на комедию — и актеры в этот вечер не сумели их «перенастроить»: ведь легче идти за зрителем, чем вести его за собой. И еще один печальный пример: очень веселая комедия, которая обычно шла под громовой хохот, прошла под гробовое молчание зрительного зала: он был заполнен исключительно... делегатами учительской конференции.

Подобных примеров можно привести много. Они доказывают, какие существенные изменения вносит в спектакль его постоянно меняющееся, каждый день новое «действующее лицо» — зритель. Но если от зрителя так зависит судьба спектакля, то мы вправе ждать от него и чувства ответственности, понимания и мастерского «исполнения» своей роли. Конечно, мы далеки от того, чтобы претендовать на открытие специальной «школы», которая выпускала бы «высококвалифицированных» зрителей. Лучшей школой зрителя является театр, сама жизнь, а также все другие виды искусства. Но то, что зритель должен учиться быть зрителем, что можно быть «лучшим» зрителем и «худшим», что зрителю тоже нужно многое уметь, иметь и знать, — это представляет нам уже не шуткой, а серьезной истиной.

Представим себе, что на футбольный матч пришел человек, ничего не слышавший о существе и правилах этой игры. Он будет очень внимательно смотреть на

бегающих футболистов, но соответствующих игре реакций от него не дожидается. Ударил кто-то рукой по мячу. Стадистч взвыл от возмущения, а наш герой удивляется: «Ну и что особенного! Рукой так рукой!». Он не знает, что игроки и болельщики-зрители условились играть только ногами. Не зная тонкостей игры, такой зритель не сможет оценить ни достоинств футболистов, ни мастерского удара.

В театре тоже существуют свои правила, свои условности. Но в театре этих правил много больше, чем в любой спортивной игре, они сложнее, а главное — они меняются в зависимости от пьесы, от режиссера, от актеров. Каждый спектакль основан на своих, присущих лишь ему условных «правилах игры». Вот почему так важен первый момент взаимной «присройки» актеров и зрителей. От театра в этом случае требуется ясность и четкость «изложения» — то, что мы называем «задать верный тон спектаклю». От зрителя же требуется умение быстро «прочитать» эти «правила», доверчиво их принять как единственно возможное для данного спектакля и воспринимать все происходящее на сцене уже только в соответствии с «условиями игры».

Условность происходящего на сцене — одна из основных сторон театрального творчества (как и любого другого искусства). Условно место действия, условно время его, условны персонажи пьесы, их текст, их костюмы, их грим. Безусловны лишь сами актеры — творцы, и та жизнь, которую они отражают в своем творчестве условными средствами искусства. Плохо, когда об этом забывают сами творцы спектакля. И плохо, когда не учитывают этого зрители, применяя к средствам искусства мерку натуральной жизни. Кроме веры в заданную театром условность зритель должен обладать и фантазией, чтобы условный художественный образ воспринять как живую, подлинную действительность. Такую фантазию отлично проявляют в своих играх дети, с увлечением мчась верхом на табурете — «лошади», укачивая тряпочных «детей» и т. д. Это качество они проявляют и в театре (и потому заслуженно считаются самыми благодарными зрителями). Дети обладают, кроме того, еще одним неоценимым для зрителей качеством: непосредственностью восприятия и реакции. Им не мешают ни посторонние наслонения на данной теме, ни чужие мнения, ни предвзятое отношение, ни случайное настроение.

Эти три качества — вера, фантазия, непосредственность — связаны друг с другом и являются основным условием активного, действительного восприятия спектакля зрителем.

Если говорить о зрителе как о соби-

рательном понятии — «зрительный зал» — то, безусловно, он этими качествами, как правило, обладает. Но зал наполнен людьми разными, и каждый из них в отдельности может обладать этими качествами в большей или меньшей степени, а может и не обладать вовсе. (Наблюдаем же мы на комедийных спектаклях мрачные, скучные физиономии — неотъемлемый признак отсутствия чувства юмора). Естественно, чем больше отдельных зрителей, сидящих в зале, обладает необходимыми для восприятия спектакля качествами, тем выше «профессиональный» уровень зрительного зала в целом, тем больше его вклад в сегодняшний спектакль.

Нельзя сбрасывать со счетов и культурный уровень сидящих в зале. Знания, жизненный опыт, знакомство с произведениями различных видов искусства, кругозор — все это служит пищей для множества ассоциаций, возникающих по ходу спектакля, которые, в свою очередь, углубляют понимание спектакля со всеми его оттенками и нюансами мысли и содержания, обогащают восприятие и усиливают переживания, т. е. повышают степень эстетического наслаждения и активности участия в обоюдном творческом акте. Одно дело, когда зритель ждет от театра только забавы; другое дело, когда он проявляет способность — и желание! — поразмышлять вместе с театром о каких-то жизненных проблемах. А переживания — будь то смех, гнев или слезы — явятся результатом обмена мыслями на ту или иную тему.

Конечно, задача театра — изучать зрителя, чувствовать и понимать его духовные запросы, учитывать степень его подготовленности. Театр может гордо оторваться от зрителей, заговорить на непонятном для них языке — и диалога не получится. Театр может недооценить зрителя, заговорив на примитивном языке, — и зрителю просто будет скучно отвечать. Диалог снова не состоится. Но верно и то, что, чутко улавливая возможности своего зрителя, театр должен стремиться быть чуточку впереди зрителя. Каждый новый спектакль должен быть как новый урок — с повторением пройденного: должен вызывать зрителя снова и снова на сотворчество, увлекать его за собой в мир открытий и неожиданностей. И требуя от зрителя, чтобы он приносил в театр весь свой духовный багаж, свой опыт, свои знания, чтобы он умножал постоянно этот багаж, — театр одновременно обязан давать зрителю возможность умножать этот багаж и на своих спектаклях. Тогда зритель не останется «зрителем» из горьковского рассказа, равнодушным и пассивным, а с увлечением, со знанием дела примет активное участие в спектакле, станет его постоянным действующим лицом.



И. Ляхов

## Критика и библиография

# Не расставаясь с друзьями

**Г**РУЗОВИК шел удивительно легко. Встречный ветер срывал пепел с кончиков сигарет, лохматил волосы... Короче, было здорово просто вот так стоять, опираясь пыльными ладонями о нагретую крышку кабины и молчать... Только когда слева по ходу машины, как по мановению волшебной палочки, выросло стремительное тело белой гигантской трубы, Миша Сафонов, бетонщик с Томь-Усинской ГРЭС, куда мы ехали на вечер поэзии, щурясь от солнца и ветра, сказал:

— Вон она, красавица!

Слова обычные, но сказаны они были таким тоном, что сразу стало понятно: человек говорит о самом дорогом, о самом любимом и близком...

...А потом мы сидели в до синевы прокуренной комнатке общежития строителей. За тонкой дверью гремели сапогами возвращающиеся со смены ребята, и Михаил, сменив заляпанную раствором спецовку на модный костюм, увлеченно рассказывал нам о своих друзьях — молодых строителях станции, о своей, казалось бы прозаической работе... Впрочем, рассказывал не он один. В комнате было привычно много народу...

Так состоялось мое первое знакомство с Михаилом Сафоновым и его будущими героями...

Вторая встреча с молодыми строителями произошла совсем недавно. На этот раз ребята с Томь-Усы пришли ко

мне со страниц небольшой книги М. Сафонова\*.

...Сборник рассказов. Хотя, скорее, все собранное в книжке можно отнести по жанру к литературной зарисовке или даже, как это ни странно звучит, к мемуарам нашего молодого современника. Впрочем, дело не в определении жанра. Главное, что книга не читается, а как бы «слушается». Автор просто, по-товарищески, рассказывает читателю о некоторых эпизодах из жизни ребят и девчат на большой стройке, на ходу, без длинных экскурсов в биографическое прошлое знакомит нас с ними, и, кажется, ничего особенного-то и не узнали мы ни о Саньке, ни о дяде Коле из инструменталки, ни об Алике, ни о Гошке...

Но вот закрыта книга, дочитана последняя строка, и все эти парни вдруг стали твоими хорошими близкими знакомыми. А ведь самый большой рассказ занимает в книжке всего три малоформатных странички. В чем же дело? Каким таким секретом владеет Михаил Сафонов? Мне кажется, что главная его заслуга в умении точно видеть и из увиденного отобрать ту нужную, единственную деталь, которая «сыграет» на образ, построение, атмосферу. Вот простой,

---

\* М. Сафонов. Точка на карте. Редактор В. Мазеев. Кемеровское книжное издательство. 1964.

первый попавшийся на глаза пример из рассказа «Насосы».

Затопило тоннель углеподачи. Угля на ГРЭС осталось на считанные минуты. Все силы бросили на установку насосов. Механик Марзин подгоняет электрика...

«...— Да подключаю, ослеп, что ли?—»  
срл ему в ответ электрик, осторожно трогая рукой, обмотанной красным шарфом, блестящую рукоятку рубильника...

Одна деталь — «...рукой, обмотанной красным шарфом», — а какой зримой, осязаемой становится картина.

Или еще, это уже из рассказа «Фиалка»:

«...Из кабины махала рукой девочка в кирпичной беретке. Рукавичка у ней была в тон с береткой, и, когда она поднимала руку, казалось, что это два гриба-боровичка...».

Сафоновым выбран очень верный тон рассказа. Язык повествования до предела приближен к разговорному, очень понятному, без всяких потуг к «литературшине» и никому не нужному заумствованию...

И все-таки соль не в этом. Как бы ни были хороши и броски детали, как бы ни был удачен тон, не было бы интересной книги без главного — без людей. Их образы, даже эпизодические, выписаны автором очень броско, с характерными лаконичными черточками портрета, с точным, только кому-то одному присущим языком, со своими привычками, достоинствами и недостатками.

И тут дело не только в литературных способностях. Обладая писатель куда большим талантом, вряд ли бы смог он рассказать так же о своих героях, не проживя, не проработав с ними годы, не *наблюдая и изучая* со стороны, а *варясь* в одном котле, живя одними радостями и одними печальями со своими друзьями по общежитию, по бригаде.

Для того, чтобы так без фальши и наигрыша написать рассказ «Земля» надо было не день и не два самому долбить «подруженькой-киркой эту мерзлую, жесткую как камень землю».

Нет возможности здесь подробно говорить о каждом рассказе и, выражаясь шаблонным языком рецензентов, «лучше отослать читателя непосредственно к книге», в которой наша кузбасская молодежь найдет много близкого.

Наверное, «Точка на карте» не лишена недостатков, но я не могу быть беспристрастным критиком и выискивать огрехи в понравившейся мне книге. Не могу, потому что хорошо знаю автора, знаю, что он и по сей день не расстается со своими друзьями — строителями. Не расстается ни за рабочим столом журналиста. Ни на строительных объектах, где его часто можно увидеть и сегодня, потому что вчера я не отрываясь прочел его новую повесть «Со мной ничего не случится», где снова главный герой — молодой строитель...

Значит, снова близка встреча автора и его верных друзей.

~~~~~

Л. Глебова

Книги О ВОИНСКОЙ СЛАВЕ ЗЕМЛЯКОВ

*Идут года,
И стала прошлым ныне
Тяжелая солдатская беда,
Но не забыть
Ни горечи полыни,
Ни сверстников,
Ушедших навсегда!*

Михаил Борисов.

Утро 9 мая 1945 года!

В моих воспоминаниях об этом дне тесно слились ощущения ослепительной голубизны майского неба, весеннего тепла, праздничности нарядной толпы на улицах с ощущением беспредельного восторга.

Нам было тогда по двенадцать лет. К концу войны мы закончили начальную школу в небольшом сибирском городке, очень далеко от всех фронтов и очень тихо. Что мы, дети, знали тогда о войне? В доме у каждого не было отцов — они воевали, у многих от отцов остались на руках лишь «похоронки». В доме у каждого не было целыми днями матерей — они работали с темна до темна. В доме у каждого не было дров и хлеба — их негде было взять. Но ведь их не было почти ни у кого! В сумках не у всех были учебники — их тогда не хватало, чернила матери делали из саж. В классе замерзали чернила в маленьких бутылочках, которые мы называли «пузырьками». Сидели мы в пальто, от холода распухали и нарывали пальцы на руках. Тетрадей не было, и писали мы, помню, на газетах, между строчками; у некоторых появлялись иногда бухгалтерские бланки или цветные этикетки от рыбных консервов. Блокноты из этикеток были предметом ребячьей зависти. Уроки начинались сводками Совинформбюро и прерывались физкультурными разминками, чтобы разогреться.

В лучшем здании города разместили госпиталь, и мы ходили туда давать шефские концерты. Интересно и страшно было в госпитале: война как бы врвалась в наш далекий тыловой городок и

потрясала нас, ребятшек, зрелищем забитованных изуродованных людей, медленно передвигающихся на костылях или вовсе неподвижных. В городке все больше становилось эвакуированных.

Все наши мечты о будущем начинались словами: «Вот кончится война...»

Проходило время, сводки с фронтов становились радостней, фашистов гнали. Госпиталь эвакуировали, уехал и военный врач, живший в нашем доме. А вскоре ему пришло письмо от сестры. Мы читали его всей семьей и плакали. На нескольких небольших листках бумаги по-детски разборчиво описано было, как фашисты бомбили Минск. Одна фраза из этого письма до сих пор гвоздем сидит у меня в голове: «Мы сидели в яме, полно было в яме дыму».

И вот этот долгожданный день, наконец! С этого дня начиналось то, о чем мы говорили: «Вот кончится война...» Мы носились по улицам и радостно орали. А матери и бабушки почему-то плакали. Мы не обращали на это внимания. Мы поняли это потом, значительно позже, через несколько лет...

Возможно, у многих людей моего поколения с детством связаны трагические картины. У каждого — свое! Я рассказывала о самом заурядном, «благополучном» тыловом военном детстве. Но детство наше было военным, и мы возненавидели войну всем своим существом. А узнавать подробности о ней, изучать ее нам предстояло еще долгие годы и по рассказам фронтовиков и по книгам и кинофильмам.

Проходили годы, и мы узнавали все новые и новые факты о героизме тех, кто защищал наше детство. Открывалась правда о делах удивительных, героических порой до неправдоподобия.

Для открытия этой правды работали тысячи людей. Иногда эта правда давалась нелегко.

Для чего, начав разговор о книгах воинской славы, я вспомнила о военном детстве теперешних тридцатилетних? Вступают в самостоятельную жизнь

молодые поколения людей, родившихся после войны, и старшему из этих поколений уже двадцать лет! Они должны знать, какой ценой добыто их счастливое детство и юность. Они должны помнить имена тех, кто завоевал его. Они должны знать правду о войне, чтобы не переживать «военного детства», хотя бы самого «благополучного», самого урядного.

Все больше и больше мы узнаем и о героизме наших земляков — воинов-кузбассовцев. Кемеровское издательство выпустило уже несколько книг об их воинских подвигах.

Первой такой книгой была документальная повесть **Георгия Фролова «Наша Вера»**, поведавшая о жизни и подвиге разведчицы-партизанки, боевой соратницы Зои Космодемьянской, кемеровчанке Вере Волошиной. Интересна история создания повести и судьба книги. Написал ее журналист, человек «военного детства», которому хорошо была известна свинцовая тяжесть слов «пропал без вести»: его отец не вернулся с фронта. Поэтому **Георгий Фролов** так близко к сердцу принял коротенькую заметку в «Комсомольской правде» о том, что в одном отряде с Зоей Космодемьянской сражалась и пропала без вести студентка Московского института советской торговли кемеровчанка Вера Волошина. Разыскать следы этой девушки, рассказать о ее жизни — такую цель поставил себе журналист. Более четырех лет он разыскивал людей, знавших Веру, ее воинские документы; ему удалось узнать все, вплоть до подробностей ее гибели от руки фашистских палачей. **Фролов** создает документальную повесть. В 1961 году Кемеровское книжное издательство выпускает ее тридцатитысячным тиражом. Книга разошлась очень быстро. В издательство хлынул поток писем от читателей.

Школьники писали, что Вера Волошина стала их любимой героиней, как Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Уля Громова. Многие ребята в своих письмах делали приписки такого содержания: «Пусть только враги сунутся на нашу землю, — мы будем так же отважно и честно воевать за нее, как воевала Вера Волошина!». В школах Кемеровской области родилось соревнование за право носить звание пионерского отряда имени Веры Волошиной.

Книга стала настоящим воспитателем юношества.

В середине 1964 года вышло второе издание книги. В него был включен новый материал, написанный по просьбе читателей: глава о детстве Веры и четырнадцать фотоснимков. Книга вышла сотысячным тиражом. Теперь не проходит дня, чтобы издательство не получало отзывов об этой книге из самых разных и отдаленных мест Советского Сою-

за. Она получила широкое читательское признание. Ею заинтересовалось Военное издательство Министерства обороны СССР, и в конце 1964 года в Москве вышло третье издание повести о Вере, под названием «Вера Волошина». Книга заканчивается новой короткой главой об однокласснике Веры, ее друге и женихе — **Юрии Двужильном**. **Юрий** погиб в 1944 году в боях под Могилевом, двадцати пяти лет от роду в звании капитана. Он участник боев с белофиннами, кавалер двух орденов Красного Знамени, посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Мы, земляки **Юрия Двужильного**, долгое время почти ничего не знали о жизни и подвиге этого человека и сейчас знаем мало. С упорством, настойчивостью изучает его жизнь **Георгий Фролов**: он работает над документальной повестью о **Юрии Двужильном**. Книга будет издана в Кемерове в будущем году.

О военных подвигах наших земляков рассказывает книга «Сибирский характер», увидевшая свет в 1963 году. Ее написал коллектив ветеранов Великой Отечественной войны.

В тяжелые дни фашистского наступления летом 1942 года родилась 150-я стрелковая добровольческая сибирская дивизия. В нее вошли два кузбассовских добровольческих полка. Желавших записаться в добровольцы было очень много, и комиссия проводила строгий отбор. Два месяца напряженной учебы — и эшелоны с добровольцами были брошены на защиту Москвы. Почти месяц провели сибиряки в наступательных боях на Ржевском выступе, потом соединение сибиряков-добровольцев было переброшено на Великолукский плацдарм. С тяжелыми кровопролитными боями, проявляя массовый героизм и отвагу, прошла Сибирская дивизия до Риги, освободив от фашистов сотни населенных пунктов, и среди них такие крупные города, как Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Опочка. Гитлеровцы на своей шкуре узнали, что такое сибирский характер. 14 500 добровольцев Сибирской дивизии были награждены орденами и медалями. Авторы очерков, составивших книгу «Сибирский характер», сами прошли этот большой боевой путь.

Подробно и точно воссоздают **М. И. Рожков**, **В. А. Ющенко-Тимонина**, **В. Цеханович**, **Г. С. Григорьев** и другие авторы сборника фронтовую обстановку тех лет, с признательностью рассказывают о своих боевых друзьях, восхищаясь их доблестью и мужеством. Тепло и непосредственно звучит рассказ бывшей санитарки **Силиной-Воробьевой** о ее подруге **Лиде Щербининой**. **Лида** была сначала санитаркой, потом овладела оружием и стала самым метким снайпером в части. Она стала для бойцов образцом мужества, храбрости и настойчивости. **Лиды**

добилась перевода в разведку, во время боев несколько раз была ранена, но неизменно возвращалась в часть. Во время атаки Лиды была смертельно ранена. Умирала она тяжело. Большим чувством любви к Родине, к жизни наполнены предсмертные письма Лиды. Со страниц очерка встает образ человека сильного духом, негибаемого и в то же время нежного и глубоко человеческого. Такие люди, как она, не забываются и из памяти не изглаживаются.

Эту книгу нельзя читать равнодушно — так подлинно описанное в ней, так близки нам и понятны большие чувства ее героев.

Книга имела большой успех у читателей и разошлась очень быстро.

«Достоин звания героя...» — так называется новая книга о воинской славе наших земляков. В ней описываются подвиги тех, кто носит высокое звание Героя Советского Союза. Сейчас известно уже более ста пятидесяти кузбассовцев — Героев Советского Союза. Многим это звание присуждено посмертно. Эти люди отстояли от фашистов Москву, прорвали блокаду Ленинграда, водрузили флаг на Берлинском рейхстаге, освободили Европу от коричневой чумы. Судьбы некоторых долго были неизвестны.

Кто не знает о бессмертном подвиге Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру вражеского дзота и заставившего замолчать огневую точку фашистов? Это произошло 23 февраля 1943 года. Такой же подвиг совершили наши земляки — кузнецане А. С. Красилов, Л. А. Черемнов и И. С. Герасименко в боях под Новгородом 29 января 1942 года, за тринадцать месяцев до подвига Матросова.

21 февраля 1944 года им посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Далеко от Кузбасса, на новгородской земле, могила трех героев, заботливо ухоженная новгородскими школьниками.

Двадцать восемь героев-панфиловцев, защитников Москвы, уж в годы войны казались нам легендарными. Лишь трое из двадцати восьми остались в живых. Один панфиловец, наш земляк, Герой Советского Союза Илларион Романович Васильев, живет в совхозе «Заря» Промышленновского района. А в конструкторском бюро завода «Кузбассэлектромотор» работает конструктор Герой Советского Союза Михаил Дорощенко Лыков, воевавший на Курской дуге, бывший летчик-штурмовик, гроза фашистов.

Есть в книге «Достоин звания героя...» очерк «Дочь Родины» о Герое Советского Союза Зинаиде Михайловне Тусноловой. Это человек легендарной судьбы и легендарного мужества. Проводив мужа на фронт, она стала добровольцем Сибирской дивизии. Была сани-

таркой. В жарких боях под Воронежем получила первое боевое крещение. Была награждена орденом Красной Звезды. В одном из следующих боев, спасая своего командира, Зина была тяжело ранена и два года пролежала в госпитале. Она перенесла восемь операций и выписалась из госпиталя без обеих ног и рук. Но поддержка друзей, сильная воля взяли верх, и мужественная женщина решает продолжать служить Родине. Она обращается через газету к воинам 2-го Прибалтийского фронта с горячим призывом: «Это письмо я пишу отрывком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы и, может быть, я научусь ходить! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите врагам!.. Гоните фашистскую мразь на запад! Крепче бейте врага за всех, кому фашисты принесли горе и муки! За нашу истерзанную землю, за нашу растоптанную молодость, за пепел сельских пожарищ, за руины городов!» Зина Туснолова бывала на военных заводах, встречалась с воинами, вдохновляя их на подвиги своими страстными выступлениями. Ее оружием стало пламенное слово коммуниста.

Зинаида Туснолова и после войны не осталась в стороне от большой жизни страны. Она депутат Полоцкого городского Совета, активная общественница, у нее семья — муж и двое детей.

А в тресте Сибметаллургстрой, что в Новокузнецке, работает инженер Михаил Федорович Борисов. И едва ли все его сослуживцы знают, что этот скромный и незаметный человек — Герой Советского Союза. Тот бой на Курской дуге под станцией Прохоровкой, когда его орудейный расчет в течение нескольких часов удерживал наступление вражеских «тигров», сделал юношу героем. В госпитале, медленно и тяжело выздоравливая, М. Борисов написал свое первое стихотворение. Оно о мужестве и стойкости русского человека. Так родился поэт Михаил Борисов.

В его стихах обращают на себя внимание глубина и подлинность чувств, достоверность изображенного. А тема одна — любовь к Родине. В первых стихах Борисова — чувство горечи от того, что ему, раненому солдату, пока не удастся стать в строй. А потом это чувство уступает место чувству уверенности в себе, радости от сознания своей причастности к большим делам.

Но всегда Михаил Борисов верен своему солдатскому долгу, чувствует себя солдатом:

Мы порой бываем суховаты,—
Памятью да болью налиты,—
Только мы по-прежнему солдаты
На переднем крае доброты.

9 мая 1965 года вышел первый сборник стихов **Михаила Борисова «Верность»**. От первого стихотворения, написанного раненым артиллеристом, до сборника стихов дорога длиною более чем в двадцать лет.

Очень точно сказал М. Борисов: «Мы... солдаты на переднем крае доброты».

Скульптор Евгений Вучетич именно таким воссоздал образ советского солдата в известном всему миру монументе, что стоит в Трептов-парке в Берлине.

Солдат с тяжелым разящим мечом в правой руке и нежный отец, бережно прижимающий к себе спасенного от смерти ребенка. Символ высшей человеческой справедливости на земле. Долго этот памятник русскому человеку воспринимался именно как символ. И лишь в прошлом году мы узнали, что монумент солдата — не плод чистой фантазии художника, что он увековечивает подвиг знаменщика 220-го гвардейского полка Николая Масалова. В фашистском Берлине, доживающем свои последние мгновения, но еще бешено сопротивляющемся натиску наших войск, среди рева канонады, воя снарядов услышал солдат Н. Масалов жалобный плач маленькой немецкой девочки: «Мутти! Мутти!». Рискаю жизнью, русский солдат спас де-

вочку от смерти. Имя этого солдата помнил маршал В. И. Чуйков. Он приводит это имя в своих воспоминаниях «Конец третьего рейха». Чуйков писал, что Масалов из Кемеровской области.

Журналисты разыскали Масалова. И вот недавно в Кемерове вышла из печати книжка о подвиге и жизни этого человека. Написал ее журналист **Петр Ворошилов**, и называется она «Подвиг, отлитый в бронзу».

Николай Масалов уже много лет работает в детском саду завхозом. Дети крепко любят «дядю Колю», а, как известно, детское сердце никогда не привязывается к черствому, неотзывчивому человеку — его не проведешь. Не случается, значит, подвиг солдата Масалова, а глубоко закономерен, оправдан всей его жизнью!

...Двадцать лет великой победы. Эту дату широко отпраздновали люди во всем мире. Пусть же книги, увековечивающие ратные подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне, учат молодежь патриотизму, пусть они донесут до читателя дыхание тех грозных и славных дней.

Валерий Фесенко

Абстракционизм и реальность

Изобразив
Щербатый диск луны,
А в центре глаз
И по бокам два носа,
Художник подписал:
«Портрет жены»,
Чтоб избежать банального вопроса.

Жена же, оскорбленная холстом,
И будучи не робкою при этом,
Так поработала
Над мужниным лицом,
Что стал тот холст
Его
Автопортретом.

Матвей Сироткин

НЕ ДО СМЕХА

Однажды под конец рабочего дня в редакцию альманаха вошел слегка сутулившийся, средних лет человек. На тонких, ехидного склада губах его прочно обосновалась ироническая усмешка, а в глазах отражалась такая усталость, будто он с самого дня рождения страдает бессонницей.

Вошедший обвел взглядом тесную комнатку, шлепнул на стол пухлую картонную папку с обтрепанными тесемочками, потер давно небритую впалую щеку и, как старый знакомый, изрек:

— Трудимся, значит?!

— Роман? — инстинктивно отодвинувшись, спросил сотрудник редакции.

— Ошиблись. Матвей я, Сироткин.

— Очень приятно! — сказал сотрудник редакции.

— Сомневаюсь... — я сатирик-юморист, — почти шепотом сказал Матвей Сироткин.

— Очень приятно! — снова сказал сотрудник редакции. — Смеетесь значит?

Матвей Сироткин потер небритую щеку и грустно произнес:

— Не до смеха!

— Исписались?

Матвей Сироткин отрицательно помотал головой и поведал нам историю, которую мы и решили предложить читателю.

* * *

ПРЕЖДЕ мне всегда говорили, что я в детстве смешинку проглотил. И верно — любил, грешным делом, посмеяться. А когда мне попада-

лись рассказы известного юмориста Крылышкина, я прямо-таки захлебывался от смеха. Не то чтоб уж очень смешные рассказы были, а знал я, что смех — дело для здоровья полезное: легкие, там, расширятся, вдох и выдох, кислород и прочее, жизнерадостность, опять же...

Но не в этом суть.

Однажды попал я в компанию литераторов. (Между прочим, я не сам туда затесался — меня сосед с собой прихватил, честное слово). И вот подводят меня там к человеку с нахмуренными бровями и потухшим взглядом и говорят:

— Познакомьтесь...

Человек с нахмуренными бровями вкладывает в мою ладонь безжизненную руку и простуженно изрекает:

— Крылышкин.

Видом своим он напомнил мне освистанного публикой певца, который, раскланиваясь, быть может, в последний раз в своей жизни все же пытается выдать бледное подобие улыбки.

Никогда я не имел привычки занкаться, но тут язык едва сложил из восьми букв два слова:

— Т-тот с-самый?

— М-да... Юморист... — сказал Крылышкин, пополоскал в моей ладони свою ладонь и отошел в правый нижний угол гостиной. Я двинулся за ним. Я приготовился ловить своими далеко не музыкальными ушами щекочущие мелодии эпиграмм, барабанную дробь острот и бодрящие звуки шуток, но...

За весь вечер Крылышкин произнес с десяток междометий и несколько туманных фраз, самая длинная из которых состояла из подлежащего и сказуемого.

Перед уходом я подошел к хозяйке

дома и спросил: настоящий ли это Крылышкин?

— Как можно! Конечно, настоящий, — фыркнула хозяйка, смерив меня презрительным взглядом.

— Очень уж он это... как бы вам сказать... Может, у него бабушка при смеоти или печатать перестали?

— Эх, молодой человек! Профессия-то у него какая! — труднейшая из труднейших. Понимать надо.

Что тут понимать?! Подумаешь, какой-то рассказик на две странички! Вон Бабаленский на две тыщи страниц роман отгрочал — и ничего, ходит себе, посмеивается, даже острить что-то насчет своих критиков пытается. А Киношкин, к примеру? Пятнадцать раз свой сценарий переписывал, пока с ним договор не расторгли, — и тоже умирать не собирается. Взял себе в соавторы режиссера и ходит теперь кум королю.

Короче, после этой знаменательной встречи я решил сам написать юмористический рассказ и доказать всем крылышкиным, что никаких трудностей в их профессии нет и не может быть.

Теоретическая сторона вопроса меня не волновала. На этот счет я подкован был: еще в школе прочитал не то научную статью, не то фельетон под заглавием: «Как писать сатирические рассказы...» Главное — тему найти соответствующую. А за темой ходить не к чему. Все юмористы в основном о бюрократах пишут. А я чем хуже? Я решил писать об очередном бюрократе. Значит, тема в кармане.

Далее — сюжет. Острый, захватывающий. Это посложнее, но, если хорошенько поворочать мозгами, сюжет изобрести можно. Изобретают же люди всякие там спутники, космические корабли и даже истории о снежном человеке...

Я пересел со стула в кресло и смежил веки. Через три часа глубоких раздумий сюжет был изобретен. Краткое его содержание сводилось к следующему:

«В город с семьей приезжает тонкий (длинный, худощавый) человек. На вокзале он видит толстого (полного, солидного, объемистого) человека. Тонкий присматривается и узнает в толстом своего школьного товарища. Подходит и говорит:

— Здорово!

Толстый (ответственный работник городского масштаба) перекладывает свой портфель из левой руки в правую:

— Простите, я вас не знаю.

Тогда тонкий...»

Впрочем, вы по завязке можете судить, как я здорово все это завернул. Осталось дать каждому из них фамилию, имя, должность, а дальше, сами понимаете, пойдет как по маслу.

Тонкий, решил я, пусть будет передовым квалифицированным рабочим с фа-

милией Передовиков, а толстый — председателем...

Э, стоп!.. Не пойдет председатель. Неудобно получается. Не техничка какая-нибудь и не стрелочник на железнодорожной станции, а председатель!..

Может, размышляю, толстого начальником милиции сделать? Должность ответственная, номенклатурная, у меня с ней никаких личных контактов нет... Э, стой! А вдруг будет?.. Кто знает, какие рогадки поставлены человеку на его жизненном пути! Нет, и начальник милиции не подходит...

В три часа ночи жена насильно уложила меня в постель, но я не сомкнул глаз ни на минуту. На рассвете я окончательно решил сделать толстого директором городского парка. Должность эта не ахти какая, но все же — директор!

Я воспрянул духом, ополоснулся холодной водичкой и пошел на работу. Вернувшись, я сел придумывать моему директору соответствующую его занимаемому положению юмористическую фамилию.

Деревянкин! От слова «дерево». Не плохо! Я схватился было за авторучку, но вовремя вспомнил, что такую фамилию носит заместитель помощника заведующего по хозяйственной части нашего учреждения. Нехорошо, думаю, получится, если мой рассказ ему в руки попадет. Обязательно подумает, что я под него подковыриваюсь...

И в эту ночь не пришлось сомкнуть глаз.

Дубинин работает в горисполкоме, Пеньков временно исполняет обязанности директора школы, где учится мой сын, Мухоморов — наш главный бухгалтер. Даже такая редчайшая фамилия, как Подпочечников, нашлась у моего дальнего родственника, который живет не то на Камчатке, не то на Кольском полуострове.

Но известно — кто ищет, тот всегда найдет. Собакевич, вот!

Через неделю в моем распоряжении были тема, сюжет, должности, фамилия; и я, движимый самыми лучшими намерениями, сел писать.

Я написал почти половину рассказа, то есть дошел до того места, где тонкий говорит толстому: «Здорово!», — и тут мое перо снова застыло. Может ли наш передовой рабочий так просто взять и сказать: «Здорово!»? Не нанесет ли такое грубоватое приветствие ущерб его духовному облику с эстетической точки зрения? Не вернее ли вложить в его уста «добрый день!», если это день, или «доброе утро», если это утро? А вслед за этими вопросами пришли другие. Как, к примеру, установить, может ли в наш космический век происходить подобная ситуация, да еще на обычном вокзале? Как отнесется к такой ситу-

ации читатель? Какие против меня обвинения может выдвинуть критика? И главное — что скажет наш директор городского парка и не начнет ли он строчить жалобу в местный комитет?..

Да... Теперь мне не до смеха. И никто не говорит мне больше, что я в детстве смешинку проглотил. А что поделаешь! Жаловаться некому. Сам виноват. Дернул же меня черт попытаться познакомиться с профессией юмориста-сатирика!..

* * *

Мы внимательно выслушали грустную исповедь Сироткина и заметили ему, что жанр сатиры и юмора у нас теперь в особом почете, что даже в «Крокодиле» начинают появляться смешные вещи и что взявший крест должен нести его до конца.

— Б-буду нести, — радостно вскрикнул ободренный автор и ушел — о, чудо! — вместе со своей объемистой папкой.

А. Иоффе

З А Я Ц

ОНИ приснились Генке под утро, точно такие, о каких он мечтал целый месяц — черные туфли с узкими и слегка приплюснутыми носами.

Потом ему привиделся магнитофон, тоже предмет его воцелений. Сначала магнитофон вел себя вполне нормально, выбрасывая пронзительные джазовые звуки, но под конец затархтел, как гоночный мотоцикл, и стремительно вылетел в окно.

Когда Генка проснулся, он долго и неприязненно разглядывал сквозь полумрак тархтевший на столе будильник.

Около автобусной остановки Генку подстерегало искушение. В газетном киоске продавался польский «Экран». В другое время он посчитал бы это неслыханной удачей. Но сейчас «Экран» был лишь испытанием, посланным ему судьбой. Невероятным усилием воли Генка заставил себя не смотреть в сторону киоска. В подошедший автобус он бросился, как бросаются в спасательную шлюпку, и стал внимательно смотреть в протаянную кем-то дырку на мерзлом стекле. Но дырку затянуло ледком, и сквозь нее видны были только редкие вспышки желтого света. О том, что рядом брехала жестяная касса, удалось почти забыть, как забываешь о ней, когда взял билет.

Хорошо вот так постоять в забвении, ни о чем не думая, ни о чем не вспоминая.

— Молодой человек, ваш билет?

Перед Генкой стоял контролер. Лицо контролера украшали маленькие рыжие усики.

— Билет?! Но кондукторша еще не подходила.

— Не прикидывайся, — сказал рыжеусый. — Автобус работает без кондуктора.

— А я услышал на передней площадке ругань и решил, что автобус обслуживается кондуктором.

Рыжеусый ослабился. Оказывается, у контролеров тоже бывает чувство юмора.

— Ну, ладно, иди, бери билет, — сказал контролер и, усмехаясь, вышел из автобуса.

Генке оставалось ехать две остановки. Взять билет или сойти раньше?.. Он сошел. Говорят, пешком полезнее ходить.

Под вечер Генка заглянул в кафе «Подъем». На обед, который одновременно был и ужином, он заказал кислый овощной борщ и биточки с капустным гарниром.

«Полтинник, не меньше, сегодня сэконобил», — радостно думал он, дожидая капусту и представляя себя в модных туфлях с узкими и слегка приплюснутыми носками.

Не очень насытившись, но чувствуя себя вполне уверенно, он, не спеша, поднялся из-за столика и вразвалку пошел в гардероб.

Швейцар помедлил, побуравил его единственным глазом, затем небрежным и ловким движением выхватил у Генки номерок. Одевал он его властно и медленно, словно совершал какой-то ритуал.

Под тусклым давящим взглядом швейцара рука Генки непроизвольно полезла

во внутренний карман пиджака и нащупала там полтинник. Потом рука передала его одноглазому. Швейцар принял дар молча и важно.

Очутившись на улице, Генка крепко выругался и быстро пошел прочь.

Мысли вслух...

За ушко да на солнышко — самый лучший способ просушки подмоченных авторитетов.

Если акт ревизии «обмывают», то в нем не все чисто.

— Говорят, ваш начальник какой-то особенный?

— Ничего в нем нет особенного, самый обыкновенный бюрократ.

Не у всех жуликов рыльце в пуху.

У некоторых оно в муке.

— Я вполне согласен с твоей критикой, — сказал Журавль, заглатывая Лягушку.

Е. МАГИН



КОНЫТО

ПЕРАСА

Владимир Матвеев

От триптиха— к Самое*

Излиться строчкам наступает срок,
И вдохновение уже крылом махнуло:
Но, смотришь — из гнезда понятных строк
Поэзия жар-птицей упорхнула.
(В. Измайлов, сб. «Разбуженное сердце»)

Ст зова Музы никуда не деться.
Я с малых лет не чаю в ней души.
Диктует мне разбуженное сердце:
— Старик, мужайся, триптихи пиши.
И рифма к рифме вдохновенно льнула.
Вдруг убедили гнезда строк меня —
Поэзия жар-птицей улинула.
...Я триптих на Самою променял.

На лаврах прошлого

(А. Волошину, автору романа «Земля Кузнецкая»).

Он в основном
за «Землю...» почитаем.
А новые романы?
Почитаем?

Четверть Андроникова

(Б. Чельшеву, автору книжки «Поиски, встречи, находки»).

Он весь в пути,
Его влечет куда-то.
Есть поиски,
находок — маловато.

Валерий Фесенко

Вниманию критиков

(А. РАСКИН, Б. ЛАСКИН)

То довольно небрежен язык,
То невиданно тема затаскана...
Гоголь,
тот бы сказал напрямик:
— А подать сюда Раскина-Ласкина.

* Самоя — герой рассказов В. Измайлова «Последний перевал».

СОДЕРЖАНИЕ

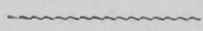
И. КИСЕЛЕВ. На площади в Белграде	2
Р. ЛОБАНОВА. Завещание чувств	3
В. ИЗМАЙЛОВ. «Высоты помним...»	10
М. САФОНОВ. Доски. Завтра будет поздно. Снежинка. <i>Короткие рассказы</i> . . .	11
В. КАЗАНЦЕВ. Чудак. «Предубеждение побороть хочу...», «Добру однажды не вез- ло...». <i>Стихи</i>	16
М. НЕБОГАТОВ. За чертой. «Большое уменье...». <i>Стихи</i>	17
О. ПАВЛОВСКИЙ. Пока не объявили посадку. <i>Рассказ</i>	18
В. ИВАНОВ. Запахи. Край родной. Лада. <i>Стихи</i>	37
Г. ЕМЕЛЬЯНОВ. Лед тает весной. <i>Повесть</i>	39
А. ИБРАГИМОВ. Утреннее стихотворение. Ящик водки. <i>Стихи</i>	65
Л. ГАРТУНГ. Беглец. <i>Рассказ</i>	67
М. САУЛОВ. Записки о буднях разведчиков недр	76

Критика и библиография

В. КЛИМОВСКИЙ. Зритель или действующее лицо?	81
И. ЛЯХОВ. Не расставаясь с друзьями	84
Л. ГЛЕБОВА. Книги о воинской славе земляков	85
В. ФЕСЕНКО. Абстракционизм и реальность	89

Сатира и юмор

М. СИРОТКИН. Не до смеха	90
А. ИОФФЕ. Заяц.	92
В. МАТВЕЕВ. От триптиха — к Самое. На лаврах прошлого. Четверть Андроникова	94
В. ФЕСЕНКО. Вниманию критиков	94



Художественный редактор О. Красова. Техн. редактор Г. Рудина.
Корректор С. Попова

Сдано в набор 27/II-1964 г. Подписано к печати 17/VII-1965 г. Формат 70×108¹/₁₆.
Печати. л. 6+2 вкл. Учетно-издат. л. 8,58. Авт. л. 7,62. ОП00655. Тираж 5000 экз.
Заказ 1713. Цена 40 коп.

Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Советский проспект, 94.
Типография «Кузбасс», Кемерово, Кузнецкая, 9.

Ч и т а й т е
к н и г и и з с е р и и
„Кузбасс литературный“

**ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПРОДАЮТСЯ
В МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГА:**

А. Зайцев. «КИРПИЧ В СЕРДЦЕ». Фельетоны.



В. Баянов. «ЗА РЕКОЙ ТАЛИНОВОЙ». Лирические
стихи.



В. Матвеев. «СМЕХОМ — ПО ОГРЕХАМ». Сборник са-
тирических стихотворений, пародий, миниатюр.



Ю. Стефанкин. «ПЛАНЕТЫ В ДЕКАБРЕ». Рассказы.



М. Сафонов. «СО МНОЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ». По-
весть.



Э. Бурмакин. «ОСЕННИЙ ДЕНЬ». Повесть.



**Г. Немченко. «СЕРЕЖКА — АНТОНОВСКИЙ ВЕТЕ-
РАН».** Повесть.

